

## Фундаментальные исследования

### От редакции

В этой рубрике публикуются отрывки из капитальных монографий отечественных учёных. Речь идёт о тех книгах в потоке научной литературы, которые выдержали проверку временем, и сохраняют свою актуальность до сих пор. Информационный, методологический и эвристическая ценность таких изданий во много раз превышает потенциал большинства статей. Одним из ярких примеров является книга Владимира Прохоровича Булдакова, отрывок из второго издания которой здесь предлагается вниманию читателей. На первый взгляд, она посвящена исторической тематике, однако не сводится к ней. Задача публикации состоит в выявлении методологического смысла, обогащающего всю социально-политическую и общегуманитарную рефлексию. Приглашаем читателей высказаться по этому поводу.

*В.П. Макаренко*

## ГОСУДАРСТВО И ТЕРРОР<sup>1</sup>

**В.П. Булдаков**

*Институт российской истории РАН*

**Аннотация:** *Постреволюционный террор в России обычно связывается с личностью Сталина. На деле интенсивность террора диктовалась логикой выживания власти, скованной с одной стороны, марксистской доктриной, с другой – авторитарной традицией. Так в конце 1920-х годов возвращение к массовому террору способствовал переход от психологии мировой революции к психозу осаждённой крепости. Отсюда же ужасы коллективизации, обусловленные по преимуществу действиями местного начальства. Последним по-своему помогли городские обыватели, объяснявшие продовольственные неурядицы действиями сельской «буржуазии». Власть, стремящаяся в соответствии с «единственно верной» теорией стать абсолютной, нуждалась во врагах инфернального масштаба – особенно когда она сама оказывалась в экономическом тупике. В этом смысле террор 1937 года сделался неизбежным. Последующие волны террора также были связаны с политическим маневрированием власти.*

**Ключевые слова:** *Россия, революция, насилие, террор, чекисты, Сталин, нэп, коллективизация, массовые настроения, слухи.*

<sup>1</sup> Параграф 2 главы V из книги: Булдаков В.П. *Красная смута: Природа и последствия революционного насилия*. Изд. 2-е, доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. – С. 555–587.

О том, что империя помимо всего скрепляется и страхом перед внешними врагами, напоминать не приходится. Этот фактор вновь проявил себя в конце 1920-х гг.

Как ни странно, возможности репрессивного манёвра большевистской власти облегчил вынужденный общий переход от психологии мировой революции к психозу осаждённой крепости. Он начался уже в связи с революцией в Китае, когда победы коммунистов сменили гомиьндановские перевороты. Ухудшение отношений с Великобританией, которая считалась в те времена оплотом империализма, породило настоящую панику и в верхах, и среди простого народа. К этому добавилось и убийство в Польше юным белогвардейцем посла П.Л. Войкова. Разумеется, ни о какой реальной угрозе СССР в то время и речи быть не могло [Олейник 1992: 42–501]. Тем не менее в руководстве страны стала нарастать паника. Как результат в отместку без суда было расстреляно 20 видных «контрреволюционеров», в списке которых первым числился нелегально приехавший в Россию видный кадет 60-летний князь П.Д. Долгоруков. Эмигрантская печать расценила это как проявление слабости системы [Долгоруков 1964: 434]. В России массы, скорее всего, восприняли это как акт отмщения и готовность всеми способами противостоять любым «проискам» извне. В конечном счёте все это обернулось официальным признанием неизбежности войны капиталистического окружения с СССР в ближайшем будущем [КПСС в резолюциях... 1984: 175], распространением нелепейших слухов о войне с Китаем [Голос народа 1998: 285] и Великобританией, вплоть до домыслов о том, что в Одессе уже находятся английские войска [Письма во власть 1998: 581–583]. Последовала истерия шпиономании, которая со временем переросла в длительную кампанию «борьбы с вредителями». В целом общественность колебалась от признаний разумности действий Советского правительства, не объявившего войну «подлейшим народностям мира» [Там же: 577], до заявлений отдельных рабочих о том, что «жестокая война должна быть объявлена, чтоб поднять настроение масс, ибо оно очень упадочное» [Там же: 574]. Все это облегчило поворот к коллективизации, успехи которой оказались более чем сомнительными. Судьбы примитивных систем связаны с психикой подданных.

С лёгкой руки теоретиков, мыслящих поверхностными аналогиями, да к тому же в рамках марксистской парадигмы, сталинский переворот принято рассматривать в рамках Термидора. При том подразумевается, что будущий «вождь всех народов» упорно готовился к этому загодя, проявив редкостное «коварство». Если во времена Ленина большевистская партия управлялась ЦК, а затем Политбюро, то Сталин сделал ставку на Оргбюро и Секретариат, с помощью которых долго воспитывал послушную себе номенклатуру. В любом случае Сталину, управляющему «новым классом» почти 4-миллионного (1926 г.) чиновничества [Статистическое обозрение 1928. № 5: 91]<sup>2</sup>, приписывается немислимое могущество, которое и было использовано в наиболее подходящий момент.

На деле в постреволюционные годы власть встала перед задачей самосохранения в качестве эффективной управляющей силы. Для этого требовался слой решительных и преданных управленцев, способных частично заменить «старую гвардию», привыкшую решать по преимуществу разрушительные задачи. Поэтому появление сталинского выражения «орден меченосцев» не случайно – это был синоним номенклатуры, сформированной в 1923–1925 гг. под руководством В.М. Молотова и Л.М. Кагановича<sup>3</sup>. С другой стороны, номенкла-

<sup>2</sup> Данная цифра включает в себя служащих всех рангов, основная масса которых была к тому времени беспартийной.

<sup>3</sup> Задача была довольно сложной: подготовленных кадров не было; герои Гражданской войны на роль умелых проводников «дела партии» не годились по причине заражённости «партизанщиной», малограмотности и, возможно, избыточной эмоциональности [Пашин 2007]. И хотя образ идеального большевистского руководителя теоретически был известен, в конечном счёте ставку пришлось сделать на людей ограниченных и безынициативных [Богословская 2008].

тура выполняла те же «служилые» функции, что в своё время последовательно выполняли бояре и дворяне.

Между тем советские управленцы представляли собой невероятно инертную массу: с одной стороны, она механически принималась выполнять любое задание, с другой – качество исполнения было совершенно негодным для полновесного «переворота» на пути к социализму. К тому же, как видно из исследования венгерского историка Т. Крауса, Сталин принял окончательное решение едва ли не стихийно, под влиянием обстоятельств – история «подталкивает» деспотов на решения достаточно неожиданно [Краус 1997: 179–203], причём навязывает эту роль отнюдь не отпетым властолюбцам и честолюбцам.

Тем не менее принято стало считать, что коллективизация – дело рук едва ли не одного лишь Сталина, причём проводилась она на редкость целенаправленно. На деле на решительные меры Сталина подталкивало смятение среди части партийных ригористов. Ещё в апреле 1927 г. некий коммунист с 1917 г. направил «срочно» и «секретно» «всем членам Политбюро» письмо, в котором доказывал, что целый ряд факторов (приток крестьян в города и рост безработицы, слабое развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, расслоение деревни и рост антисоветских настроений) требуют решительных мер в деревне. Он отнюдь не предлагал той модели коллективизации, которая позднее была осуществлена [Письма во власть: 574–575], но подобные письма смущали власть: ясно было, что оголтелостью вконец перепуганных активистов может воспользоваться оппозиция. Именно в ситуации навязанного выбора оказался и Сталин – человек невероятно опасливый. Поэтому неудивительно, что на низовом уровне коллективизация приобрела весьма хаотичный характер и встретила не менее беспорядочное сопротивление крестьянства [Viola 1987; Peasant rebels under Stalin... 1996; Hughes 1996; Голос народа: 300–306]. Разумеется, пропагандисты не забывали и об угрозах со стороны мирового империализма, и о внутренних врагах, и о прорыве в строительстве социализма – но эта риторика уже успела стать стандартной [Кедров 2008: 79–81]. Со стороны местных начальников наблюдались случаи разнузданного самоуправства. Один из них, к примеру, заявлял: «Если не идёте в колхоз, нам ничего не стоит расстрелять 10 человек из сотни или поджечь вас с четырёх сторон...». Находились у них и «помощники». Так, в Тюменском округе пьяные коммунары убили одного единоличника, грозились перерезать остальных. Наблюдались даже стычки детей единоличников и колхозников [Голос народа: 288, 290, 291]. Коллективизация может рассматриваться как пародия на «красную смуту» 1917 г., сочинённую крайне неумело, но повлёкшую за собой разрушительнейшие последствия.

Деревня оказалась расколотой: одни заявляли, что колхозы – это «вздор и чепуха», другие готовы были обобществить и личные вещи [Кедров: 94, 91]. Все это напоминало гротескные сюжеты из «Котлована» А. Платонова, язык которого удивительно напоминает о вербальных потугах масс..

Историки практически отказались от оценки того, как наиболее забитая часть деревни отнеслась к идее коллективизации. В одном недавнем исследовании приводятся интереснейшие высказывания крестьян Европейского Севера на этот счёт. Помимо выражения лояльности власти путём воспроизведения пропагандистских клише прозвучали и высказывания о том, что «хорошую вещь придумали большевики», «теперь чувствую себя спокойно... партия и правительство худого нам не пожелают». Некоторые старики заявляли: «Хотел помирать, но жизнь впереди предвидится хорошая, объявляю смерти борьбу» [Там же: 91]. Последнее заявление звучит нелепо только на первый взгляд: в действительности оно напоминает о последней надежде измученного человека, что хотя бы один из экспериментов власти окажется удачным.

Сталин, похоже, приглядывался к происходящему, при случае был готов даже трубить отбой. Но власть сумела не только инициировать в городах движение так называемых двадцатипяти тысячников, но зарегистрировать около 700 тыс. рабочих, выразивших желание выехать на фронт «колхозного развёртывания» [Голос народа: 284]. Город «помог» сталинскому походу против крестьянства. Власть, манипулируя людской массой, смогла выиграть и на сей раз.

Существовала ли реальная альтернатива коллективизации? Имела ли она под собой логическое основание? Как ни странно, да. Но при этом оценивать спонтанно формируемую оппозиционерами альтернативу следует не по внешним лозунгам, риторике и аргументации, а в связи с возможностью перехода общества в качественно иное – в том числе и политическое – состояние. Необходимо учитывать, что альтернатива складывалась стихийно на фоне идейно и теоретически разнородных меньшевистских и сменовеховских прогнозов, что придавало ей дополнительную убедительность. Если ход мысли оппозиционеров отделить от доктринёрской фразеологии, то выходит, что возможность дружного принятия ими антисталинских и даже антимарксистских решений была заблокирована только одним – боязнью возврата к отношениям частной собственности [Краус 1997]. Именно это и обусловило поведение диктатора, который решился на «свой» поворот едва ли не с испугу.

Учитывая, что Сталин в вопросах теории был полный невежда, достаточно было серьёзного натиска на него со стороны его же, куда более интеллектуально продвинутого окружения, как СССР двинулся бы по пути, сходному с денсяопиновским. В то время этот поворот был бы поддержан и рабочими, и крестьянами, не говоря уже о массе интеллигенции. Этот момент следует иметь в виду, учитывая, что только он мог противостоять лживому соитию утопии с традицией на долгие годы.

В связи с этим так называемый сталинский Термидор стоило бы рассмотреть в системе качественно иных координат, но не в рамках борьбы за власть<sup>4</sup>, а в системе многомерного столкновения традиционализма и модернизаторства. Идеи и доктрины играют в реальной жизни не детально-указующий, а сакрализирующий характер.

В истории их «чистота» более чем относительна. На протяжении всей своей истории коммунистический режим только и делал, что приспособливал старые, неуклонно вульгаризуемые марксистские догмы к своим тактическим шагам. Массы взирали на это вполне равнодушно.

Насколько недеспотичный Термидор был в СССР реален? Из новейших исследований настроений рабочих и особенно крестьян того времени видно, что массы (тогда отнюдь не миролюбивые) охотнее приняли бы именно его. Другое дело, что нетеррористический вариант предполагал бы отказ от идеократии. А этому власть в России не научилась до сих пор.

Не следует забывать и о том, что в условиях, когда власть ощущает свою неудачливость в реализации стратегического курса, на целенаправленный произвол ей решиться сложно. Для этого требуется к тому же эффективный репрессивный аппарат.

А тем временем народные низы по-своему реагировали на большевистские действия. В июле 1930 г. на Украине муссировались слухи о том, что председателями колхозов станут бывшие помещики (Сталин, надо заметить, связывал решение аграрного вопроса с появлением деловых «красных помещиков»). Там же со ссылками на Библию ходили пророчества о том, что через 42 дня после перехода к коммуне грядёт полномасштабный конец света. Помимо слухов-ужасов о порядках в грядущих колхозах судачили о том, что «от каждой женщины будут брать по 5 пудов волоса» неизвестно на какие нужды, «четырёхпудовых девушек будут отправлять в Китай», «коней заберут для евреев обрабатывать их землю». Кое-кто

<sup>4</sup> В частности, тема непрерывной борьбы за власть в большевистском руководстве пронизывает весьма содержательную книгу С. Палюченкова [Палюченков 2008].

уверял, что красивых мужчин и женщин начнут насильственно спаривать в видах выведения улучшенной породы людей, но больше всего было разговоров о ширине (до 100 м) одного единственного одеяла, которым предстоит накрываться всем участникам свально-колхозного греха. В одной из местностей Средней Волги был пущен слух, что рабочие-двадцатипятилетиячки направляются в деревню в видах женитьбы на дочерях крестьян. Как результат в одном селе к прибытию секс-посланцев дружественного класса-гегемона было за один день спешно выдано замуж 13 девиц [Кабанов 1997: 367, 368, 370–371, 382]. Чем более «высокие» цели ставили большевистские доктринёры, тем шире разливались волны абсурдных слухов, предрассудков и иррационального озлобления в традиционалистской среде. Даже немногие бедняки, для которых единоличное хозяйствование было бесперспективным, впадали в «распри и междоусобицы» на артельных собраниях «из-за недовольства условиями труда и своими неавторитетными руководителями» [Письмо заключённому оппозиционеру... 2007]<sup>5</sup>. Масса в очередной раз утрачивала привычные социально-нравственные ориентиры, это породило новые коллективные психозы.

Новейшие исследования вместе с тем обнаруживают, что часть деревни была настроена резко антикулацки, рабочие также склонны были приветствовать репрессии, но не против кулачества в целом, а лишь против самых «дурных» его представителей. Более того, и те и другие стали откровенно жалеть членов семей раскулаченных, особенно детей [Плотников 1998: 76–80]. Психологически повторялись ситуация борьбы против помещиков 1917 г. и некоторые персональные левацкие выверты времён «военного коммунизма». Раскулачивание сопровождалось гонениями против сельских священников, хотя кое-где они спешили объявить себя сторонниками коллективизации. Подобным образом поступали даже муллы, порой заявлявшие, что «Магомет был первым коммунистом» [Голос народа: 292–298]. Разнузданность низовых властей порой принимала совершенно дикие формы. Так, в марте 1930 г. на Урале руководитель коммуны «III Интернационал» инициировал стрижку волос у женщин, было насильственно острижено 100 представительниц прекрасного пола. Но, с другой стороны, в ряде и 0/4 мест население весьма активно воспротивилось закрытию церкви [Плотников 1998: 79, 83].

Власть не могла не реагировать на все это. Но теперь, сделав шаг вперёд, она ориентировалась на тех, кто психологически упреждал её планы. А таких хватало, причём среди образованных представителей нового поколения. «В какое чудесное время мы живём! – искренне заявлял один молодой человек в октябре 1931 г., изливая свои восторги на фигуру Сталина. – И эта огромная личность, руководящая этим строительством! Такие рождаются разве в тысячи лет раз. Что перед ним Ленин. Предтеча. И что сравнительно с нашей революцией (должно быть, коллективизацией – В. Б.) – Октябрьская? Преддверье...» [Цит. по: Розенталь 1998: 109]. Так в сознании целого поколения выростала исполинская фигура непогрешимого вождя, всякое деяние которого было заранее оправдано. Но в том-то и дело, что этот вождь вынужден был оставаться «марксистом», пусть и весьма своеобразным – иначе он терял точку опоры внутри партии. Всякий вождь – одновременно и вершитель судеб людей, и заложник собственной исторической судьбы.

О коллективизации и ужасах раскулачивания в последнее время написано много. Остались незамеченными, однако, некоторые весьма существенные детали. Во-первых, большевики наносили удар не только по крестьянству, а по собственности как таковой. Во-вторых, видимым антиподом тому и другому выдвигались пролетариат и индустриализация. В-третьих, эти акции объективно были рассчитаны на активизацию деревенской молодёжи, частично уже одураченной коммунистической образованщиной. Наконец, коллективизация

<sup>5</sup> Интересно, что данное письмо принадлежит человеку, в целом, безусловно, разделяющему социалистические идеалы.

ударяла по церкви (символично, что выслаемые кулаки часто размещались в церковных зданиях), причём находились вконец одуревшие люди, симпатизирующие всему этому. Ещё более показательны, что высшая власть ухитрилась снять с себя ответственность за всевозможные «перегибы», вовремя открестившись от творимых насилий и безобразий с помощью известной сталинской статьи «Головокружение от успехов». Итак, сакральные основания власти не слабели, а получали новые подпорки – пусть в форме молодёжной истерии.

Хотя афишированной целью коллективизации было «наступление социализма по всему фронту», обнаружилось, что государство не только не нуждается ни в каких естественно возникших примерах для подражания, но и стремится само спускать бюрократические образцы. Поражает в связи с этим, как злобно в ходе коллективизации партфункционеры набросились на коммуны безобидных толстовцев [ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2176. Л. 13 об. – 14]. Тем не менее традиционализм не только уцелел, но и стал переливаться в новые формы. В сущности, для Сталина коллективизация была не более чем попыткой насадить несколько десятков тысяч «красных» помещичьих латифундий под вывеской обобществления и движения к социализму. Строго говоря, он всего-навсего возрождал крепостничество. Ему попросту нужны были «социалистические помещики», умеющие управляться с крестьянами лучше, чем праздные «баре». Вероятно, ему казалось, что формальное разрушение общины и церкви усилит сравнительно с эпохой «военного коммунизма» мобилизационный эффект и несколько приблизит сельскохозяйственное производство к фабричному, отнюдь не лишившись при этом преимуществ страдного характера крестьянской жизнедеятельности. На деле был включён ещё один механизм хозяйственного развращения деревни.

Нечто подобное коллективизации предлагалось в карательной сфере. 12 апреля 1930 г. Г.Г. Ягода подготовил внутриведомственную записку, в которой предлагал «в условиях заключения сделать труд более добровольным», «превратить лагеря в колонизационные посёлки (выделено в документе. – В. Б.)» и вообще стремиться к уничтожению тюрем, дабы «быстрейшим темпом колонизировать Север». Посёлки «колонистов» должны были управляться комендантами – вот, собственно, вся разница между «малой» и «большой» зонами. Ягода мечтал, что «пройдут годы», и из посёлков расконвоированных «вырастут пролетарские городки горняков». Следовательно, «надо найти людей, которые увлекутся этой идеей и поставят на голову всю тюремную систему, которая прогнила до корней» [Дугин 1999: 8–9]. Можно вообразить, что главный тогдашний каратель был своего рода «идеалистом от насилия», стремящимся искоренить «буржуазные» его пережитки. Но нельзя не заметить, что он в сущности предлагал то, что уже практиковалось империями прошлого.

Характерно, что скоро наметилась тенденция к «социалистическому пуританству». Нэповские вольности стали по-отечески, но планомерно пресекаться уже в начале 1930-х гг. С другой стороны, в лагерях последовало неожиданное уничтожение прежних начальников-садистов, временное смягчение режима, доходящее до заигрывания карателей с сидельцами [Шмыров 1998: 77, 79]. Но это была лишь одна сторона медали. В сфере общегражданской последовали введение «гражданской» цензуры, «чистка» библиотек и даже запреты на однополую любовь и аборт (нечто подобное развернулось в Германии после 1933 г.). Семья предстала «оплотом социализма» вопреки всем предыдущим либертарианским заскокам [Вольфсон 1937: 233–234]<sup>6</sup>. В августе 1932 г. был принят закон об охране социалистической собственности, по которому за хищение и порчу госимущества можно было запросто схлопотать «вышку». В сентябре того же года появились трудовые книжки, в декабре – введён паспортный режим.

<sup>6</sup> Показательно, что в выпущенной восемь лет назад книге автор утверждал обратное [Вольфсон 1929: 375].

Поразительно, но в глазах многих людей настоящий и будущий террор получал фантастичное объяснение. В дневнике педагога (причём женщины) 1 января 1932 г., т. е. задолго до Большого террора, появилась следующая поразительная запись: «...Пачками в центре и на местах снимаются... и арестовываются те, кто раньше арестовывал и допрашивал других... Боюсь, что за всем этим скрывается организованная мировая контрреволюция в лице все более наглюющего фашизма» [Цит. по: Розенталь 1998: 109]. Люди, в чьём сознании произошла столь невероятная инверсия понимания истоков насилия, могли согласиться на любые эксперименты над собой во имя «светлого будущего». В массах стало формироваться квазимарксистское представление о том, что в СССР стандарты личной жизни задаются самой историей и чем больше они подчинены интересам общества, тем интереснее становится сама жизнь [Hellbeck 2006: 349]. В условиях, когда в сознании людей творилось подобное, у власти оказались развязаны руки. И в данном случае надо поражаться не количеству «ошибок», совершенных ею, а радоваться тому, что она не наделала ещё более трагичных глупостей.

В «антисталинской» литературе принято считать, что голод 1933 г. был организован едва ли не сознательно, как месть за сопротивление крестьян коллективизации. При этом цифры жертв голода многократно преувеличиваются – до 20 млн. Новейшие исследования показывают, что на деле все было куда более нелепо: коммунистическая статистика преувеличивала размеры «скрытых» хлебных запасов у крестьянства, с одной стороны, не имела реальных представлений о катастрофичности неурожая 1932 г. – с другой. Крестьянство в России, учитывая, что один урожайный год компенсирует потери нескольких неурожайных, в прошлом действительно предпочитало придерживать зерно у себя, не торопясь продавать его (в этом одна из скрытых причин его «антирыночной» ментальности). Патерналистская практика помещиков, а затем и государства, наконец, политика «военного коммунизма» отучили крестьян подстраховывать себя от неурожая собственными запасами. Государство коммунистических доктринёров, со своей стороны, этого не учитывало, ибо склонно было преувеличивать «хитрость» крестьян. Последние, в свою очередь, привыкли на все аграрные эксперименты и фискальные чрезмерности власти реагировать однозначно – резать скот и сокращать производство. В результате случилось так, что и государство, и сельские труженики «обманули» друг друга и самих себя: первое осталось без предназначавшегося на экспорт зерна, вторые – без средств к существованию вообще [Дискуссия по докладу... 1998: 94–132].

Налицо один из типичных для XX в. случаев нестыковки ментальностей, приводящих к катастрофическим последствиям. Что касается представлений о сознательной организации голода, то они порождены архаичными предрассудками о целенаправленности и изощёренности злого начала: до организации столь масштабной изуверской акции тогдашние правители попросту бы не додумались, этому препятствовала и российская патерналистская традиция. Можно, разумеется, предполагать, что кое-кто из большевистских лидеров воспринял случившееся как утверждение «правоты истории» и почувствовал подобие злорадного удовлетворения по поводу мести «классу мелкой буржуазии». Но рассуждать о «геноциде против собственного народа» может лишь большой человек или бессовестный политикан, ибо патерналистская власть ощущала себя более уверенно, опираясь на импульсы насилия, идущие снизу, нежели на собственный карательно-репрессивный аппарат.

Власть, выросшая из хаоса, теперь пробовала дозированно использовать его для достижения социального контроля. Возможно, это наиболее примечательная особенность сталинского «большевизма».

\* \* \*

Для коммунистических правителей всякий раз важно было убедиться в правильности «генеральной линии», человеческие издержки отступлений от которой скорее радовали, нежели пугали. И вновь им помогли массы, хорошо понимающие мимику власти.

Современникам, особенно россиянам, запоздало вкусившим этатизированной идеологии Просвещения, довольно трудно поверить, что в родном Отечестве могут разыгрываться спектакли средневековых времён со своими инквизиторами и еретиками. При этом последние готовы каяться добровольно.

В 1933 г. страна торжественно отмечала 50-летие смерти К. Маркса. Это вовсе не было рядовой юбилейной датой – праздновали «марксизацию» российской науки. Дело в том, что в Российской академии наук никогда не было философов – последние считались «вольными мыслителями», не подлежащими ограничению административными рамками. Теперь положение изменилось. 17 марта на общем собрании Академии наук СССР новоиспечённый академик Н.И. Бухарин в трёхчасовом докладе «К. Маркс и его историческое значение» прославил «овладевшую массами» теорию «красного доктора», но при этом отверг попытки «приклеить марксизму ярлык нового вероучения, вроде христианства, магометанства и т. д.». Возможно, он, как всегда, поступил не очень осмотрительно. Другой новоиспечённый академик, А.М. Деборин, в докладе «К. Маркс и классовая идеология современности», обругав фашизм и социал-фашизм, заявил, что «наша эпоха есть эпоха реализации гениальных прогнозов Маркса, Ленина, Сталина о конечных судьбах капитализма». В общем, получалось, что, отсекая всякие аналогии, новые элиты возрождали религиозные тропы для утверждения коммунистической идеократии.

На следующий день в Отделении общественных наук среди прочих прозвучал и доклад академика А.С. Орлова «Переписка Маркса и Энгельса по поводу “Слова о полку Игореве”». В Отделении математических и естественных наук наряду с докладом В.Л. Комарова «Биология и марксизм», где учёный уверял, сколь плодотворное воздействие на его изыскания оказало знакомство с «Капиталом», прозвучал и доклад академика А.А. Чернышева «Основоположники марксизма о значении электроэнергии для развития новых общественных отношений». Оказалось, что и по части электрификации Маркс и Энгельс «предвидели основные контуры нашего времени» [Вестник Академии наук 1933: 15–16, 22, 23].

Учёные уровня академиков не упустили возможности творческого самоутверждения – не без показного смирения – перед лицом идеократии. Академик А.Н. Бах, в прошлом народник, почему-то счёл необходимым выступить со статьёй «Как и когда я стал марксистом», из которой, впрочем, невозможно было понять, стал ли он таковым вообще [Фронт науки и техники 1933: 123–124]. Представители творческих профессий в связи со смертью мнимого «учителя» явно старались пропеть осанну новой власти. Истинная победа варваров над одряхлевшей старой культурой наступает тогда, когда их воинственные ритуальные танцы удостаиваются академического статуса. С другой стороны, люди старой культуры получают шанс преодоления творческой (и личной) смерти через включение в общее магическое движение – как казалось, вперёд.

Что касается «рядовых строителей социализма», то в их головах творилось нечто невообразимое. Партийные пропагандисты учёностью не блистали никогда, но теперь они, похоже, просто одурели. Одни из них заявляли, что «наша партия вывернула II Интернационал наизнанку, он получил удар от большевиков и потерпел крах», другие поясняли, что «при империализме высоко развит труд, а денежки получает один». Неудивительно, что слушатели, со своей стороны, на вопрос «Что такое империализм?» отвечали: «...Это есть царь-император. Царь – высший капиталист, т. е. высшая стадия капитализма». Деятельность Ленина характеризовалась ими так: «Ленин шел по верхам, которые наметили Маркс и Эн-



гельс» [Общество и власть. Российская провинция. Т. 1. 2008: 602–604]. Естественно, что подобные «помощники» не могли не бесить главных «теоретиков».

Террористичность режима между тем отнюдь не обрела характера механической эскалации. Правители дозировали собственный революционаризм, ибо ощутили себя властью. Коллективизация, раскулачивание, карточная система сменились «неонэпом» – своего рода передышкой или собиранием сил перед Большим террором. В 1934–1935 гг. началось постепенное восстановление в гражданских правах раскулаченных, их детей стали принимать в вузы. Знаменитая фраза Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее» вовсе не относится ни к числу издевательских, ни натужно-оптимистичных. Под ней таилось известное облегчение власти от ощущения того, что самое трудное позади – к конкретным жизненным реалиям она никакого отношения не имела. Более того, поскольку коммунистическим правителям и в дальнейшем суждено было жить в тяжёлой атмосфере постоянного ожидания худшего, они с некоторым облегчением отдали «долг народу». Поводов для этого оказывалось более чем достаточно. Соответственно ситуации и представлениям о собственной свободе манёвра власть применяла то кнут, то пряник.

Но существовала ещё одна проблема: надо было придать коллективизации вид классовой борьбы, в которую активно включилось юное поколение. Так родилась легенда о пионере Павлике Морозове, якобы из идейных соображений не пожалевшего родного отца. Всё было куда проще – сбивчивых показаний мальчика для следователя оказалось достаточно, чтобы осудить его отца, запутавшегося и в хозяйственных, и в личных делах. Убийство братьев Морозовых носило чисто уголовный характер, как и расправы на Урале с ещё несколькими пионерами, что и было признано местными прокурорами. Этому не приходится удивляться: таковы были жуткие нравы в тогдашней среде раскулаченных и ссыльнопоселенцев. Между тем рьяные уральские комсомольские руководители нуждались в образе «классового врага» – как результат, погибшие дети были объявлены жертвами «кулацкой мести» [Там же: 564–567]. Образ оказался настолько устойчивым, что во времена перестройки несчастный Павлик Морозов усилиями новых публицистов, столь же бесцеремонных, как комсомольцы прошлых лет, был превращён в сознательного стукача и коммунистического отцеубийцу. Власть, стремящаяся стать абсолютной, нуждается во врагах inferнального пошиба – особенно когда она сама постоянно совершает нелепые деяния.

Уже в 1936–1937 гг. сельское хозяйство вновь поразил недород, возникли перебои с продовольствием. В народе стали ходить легенды о бесхозном мешке с хлебом на дороге, который, однако, «никак нельзя взять», о луже крови и «женщине в белом», символизирующим войну и смерть. С конца осени 1936 г. и до уборки урожая 1937 г. отдельные районы страны посетил голод, отмечались факты поедания суррогатов, дохлятины, смертные случаи составили не один десяток. В перлюстрированных письмах встречались антисоветские и антисталинские высказывания, кое-кто считал, что «царь Николай был дурак, но зато хлеб был пятак», кто-то заявлял, что, «если руководил бы Троцкий, то он руководил бы лучше Сталина» [Осокина 1998: 92–93; Fitzpatrick 1994: 295]. К сожалению, Е.А. Осокина, приведя эти высказывания, даже не попыталась выяснить, как они соотносятся с господствующими в то время представлениями народа о власти. Ш. Фицпатрик, со своей стороны, склонна преувеличивать масштабы недовольства крестьян Сталиным [Fitzpatrick 1994: 308–312]. Очевидно, что люди на сей раз не бунтовали, а жаловались и просили о помощи. А поскольку в народе циркулировали слухи о том, что хлеб вывозят то в Испанию, то в Китай, власти надо было найти подходящих виновников. Исследователи, к сожалению, не обращают внимания на настоящую истерию поиска «вредителей», которая поразила в это время верхи. Власть боялась народа, а потому в очередной раз пыталась навязать ему «внутреннего врага».

В России всегда трудно установить формальную связь между инициативами низов и теми или иными шагами властителей. В любом случае система обратной связи действовала. Следует помнить, что предрепрессивный период был временем стахановского движения, «преобразования природы», женщин-общественниц, пуска лучшего в мире метро, челюскинской эпопеи, полётов в стратосферу и через Северный полюс в Америку, непременных «рекордов» и «соревнований» буквально во всех областях жизни под лозунгом «догнать и перегнать!». Некоторые исследователи резонно считают, что именно через стахановское движение шла незаметная сталинизация всего общества [Maier 1990]. Разумеется, стахановцев и ударников простые «работяги» невзлюбили, но это лишь подхлестывало новых пассионариев, с помощью которых и стали меняться общесоциальные представления о времени, пространстве и совокупных человеческих возможностях.

Отголоском данной тенденции стало поветрие новых имён – не только Трактор, Индустрий или Пятвчет (Пятилетку в четыре года), но и Октябрина, Сталина или Лентрош (Ленин, Троцкий, Шаумян), а в порядке крайностей, игнорирующих элементарное благозвучие, даже Винун (Владимир Ильич не умрёт никогда), Дележ (Дело Ленина живёт), Лелюд (Ленин любит детей), Статор (Сталин торжествует) и Оюшминальд (Отто Юльевич Шмидт на льдине). Хватало, разумеется, и «иностранных» – «красивых» и «интернационалистских» имён. По некоторым данным, число революционно-обновленческих имён составляло около 5 % от новорожденных, что как будто не столь много. Но важно заметить, что подобные инициации, естественно продолжавшие большевизированные переименования городов, фабрик, заводов и т. п., захватывали преимущественно семьи интеллигентов первого поколения [Ирошников, Шелаев 1998: 7–8], т. е. можно говорить о достаточно устойчивой тенденции к ритуализации идейных импульсов Октября. Правда, в это же время пышным цветом расцвёл политический анекдот, но он, по-видимому, играл компенсаторную роль, являя собой часть известного рода «богохульства» истово верующих и неофитов. Широко практиковалось также идущее из 1917 г. награждение знамёнами целых производственных коллективов и присвоение им (коллективному человеку) революционных имён, среди которых были и те, что давались в честь групп расстрелянных и повешенных белогвардейцами коммунистов и простых рабочих и крестьян. Но наибольшее распространение получили митинги и массовые шествия (демонстрации), приуроченные к тем или иным революционным датам. Новейшие исследования подтверждают, что в ритуальной своей части они воспроизводили структуру крестных ходов [Глебкин 1998: 94–97]. В сущности, ценностная иерархия традиционной культуры не столько менялась, сколько наполнялась новой лексикой. Вместе с тем в ней оживали подвижнические компоненты.

Народу упорно навязывалась психология жертвы во имя будущего, и он это принимал. Более того, обнаружился и вовсе невиданный феномен: отдельные представители молодого поколения (в том числе и из семей репрессированных) ощутили свою своеобразную нравственную недостаточность сравнительно с тем «идеальным» новым человеком, которому суждено было строить будущее. Иные граждане активнейшим образом «работали над собой», дабы совершенствовать себя, а не власть, перед вратами коммунистического рая [Хельбек 1997]. Их личная жизнь непроизвольно стала подгоняться под тот ритм (от пятидневок до пятилеток), который небезуспешно навязывали им вожди.

Авторы, до сих пор мучающиеся изжогой материалистического метода и потому готовые виться ужом ради доказательства «вынужденного» характера российского насилия, явно или скрыто пытаются убедить, что сталинский «социализм» мог быть «лучше». Пожалуй, наиболее «хитрый» из используемых при этом приёмов связан с идеей «чрезвычайщины» – использование особой, патерналистской формы российской репрессивности редуцируется до вынужденного применения властью крайних – разумеется, временных – мер. Понятно, что

при этом изыскиваются самые неожиданные факторы, в силу обнаружения которых у власти якобы не оставалось ни выбора, ни времени на размышление. Так, в одной из работ известный популяризатор перестроечных времён утверждал, что в связи с приходом Гитлера к власти в Германии «и во внутренней (не говоря уже о внешней. – В. Б.) политике сталинского руководства намечаются попытки упрочения политического режима, как это ни парадоксально, путём освобождения его от тех крайностей, которые затрудняли обретение нового положения в Европе...» [Бордюгов 1999: 42]. Попросту говоря, усатый тиран, убоявшись «бесноватого ефрейтора», принялся кокетничать с западными демократами. Слов нет, сталинский режим был весьма заинтересован в благопристойности собственного имиджа. Но в связи с приходом Гитлера к власти ему беспокоиться на этот счёт не приходилось – в глазах западных политиков он автоматически становился «лучше». Отступление от крайностей коллективизации было генетически заложено в советской системе. Последняя оставалась патерналистской даже в крайностях своей репрессивности – «вынужденная» суровость тех или иных акций должна была постоянно подтверждаться умением миловать. К тому же государственные органы оказались к 1933 г. до такой степени завалены жалобами на крайности массовой коллективизации и голодные последствия введения карточной системы, что власть просто не могла не отреагировать на это так называемым неонэпом.

Революция обретает своё конечное лицо не в связи с политическими переворотами и идеологиями, а в ходе самоутверждения поколения, наиболее остро испытавшего её бытовое протекание на своей неокрепшей психике. Проще говоря, финальный акт революции наступает тогда, когда подросшие дети воспроизводят на ином социальном уровне те образцы поведения, которые они некогда подсмотрели у разъярённых предков в годы «красной смуты».

Парадоксально, что в обыденной жизни люди 1930-х гг. жили вовсе не террористическими реалиями. Люди образованные, полагая, что в мире существуют только две силы, которые противостоят друг другу, – фашизм и коммунизм, изыскивали в последнем положительные черты. Их вдохновлял не только проект новой Конституции, но и «перерождение преступников на работах Беломоро-Балтийского канала» или «замечательная» книга Макаренко «Педагогическая поэма». При широком обсуждении книги один рабочий даже высказался, что, читая поэму, завидуешь воспитанникам Макаренко и сожалеешь, что сам не беспризорник» [Разговор через решётку... 1992: 507–508, 511]. Люди ощущали себя не в «большой тюрьме», а в естественной социальной среде, где личность для её же блага растворяется в коллективе. В принципе эта психосоциальная ситуация обычна для доисторических обществ, где худшим из наказаний является изгнание из племени. Сегодня кажется невероятным, но в те времена само государство порой сдерживало столь архаичные формы социализации: в середине 1930-х гг. был утверждён план реконструкции Москвы, согласно которому на Юго-Западе столицы планировалось строительство жилого массива – прообраза коммунистического города будущего, где каждой семье полагалось по отдельной квартире, а её члену – по комнате. Удивительно, но сталинским крепостникам хотелось, чтобы их рабы походили на западных людей.

Но для витализации «мертвящей» командной системы этого было мало – она нуждалась в основательной доле животного оптимизма. Поэтому неудивителен и «культ тела», который в своё время столь впечатлял западных интеллектуалов, и всевозможные празднества и торжества – от мессиански-революционных до ситуационных, посвящённых то спасению челюскинцев, то чкаловскому перелёту в Америку [Булдаков 1993]. И «простому советскому человеку» никогда не приходило в голову, что участие в «праздничных» ритуалах – это всего лишь оборотная сторона все такого же искреннего «всенародного» осуждения «врагов народа», пугающий образ которых помогал власти оставаться Властью.

Совершенно не случайно то, что «всенародное» обсуждение сталинской Конституции 1936 г. выявило два основных компонента социальных ожиданий: всевозможные послабления людям лояльным, которых становилось все больше; значительное расширение круга гражданских обязанностей перед государством. Но требовалось и другое: зачистить социальное пространство от тех, кто не вписывался в него или «мешал».

\* \* \*

В настоящее время литература, посвящённая Большому террору, насчитывает десятки названий. В общем, приходится поражаться, до какой степени плаксивость, недоумение, озлобленность определяют её облик. Среди них преобладает гулаговская статистика [См.: Яковлев 1955; Bunyan 1967; Гиляров, Михайличенко 1990; Земсков 1991; Он же. 1997; Он же 2009; Детков 1992; Jacobson 1993; Getty, Rittersporn, Zemskov 1993; Bacon 1994; Stettner 1996; Красильников 1997; Werth 1997], системного анализа явления не просматривается, региональные исследования появляются только в последнее время [См.: ГУЛАГ в Карелии, 1930–1941, 1992; Еланцева 1995; Кириллов 1996; Гвоздкова 1997; Морозов 1997; Бердинских 1998; Годы террора 1998]. При этом исследователи, похоже, ни в чем так не единодушны, как в приписывании инициативы террора 1930-х гг. исключительно злой воле Сталина<sup>7</sup>. Среди многих объяснений причин террора, включая самые экзотические, рассчитанные на обывателя, вроде «обиды» диктатора на оппозицию, разлучившую его с женой-самоубийцей<sup>8</sup>, выделяется попытка связать её с борьбой против «бюрократической клановости» [Тоталитаризм в Европе... 1996: 77]. В истолковании феномена ныне преобладает хозяйственный аспект [Иванова 1995; Она же 1997].

Даже зарубежные исследователи, пытавшиеся выявить «объективные» предпосылки террора [Stalinist Terror 1993], не рискнули сделать вывод, что террор оказался органически связан с агрессивным утверждением новой (точнее, возрождением старой) патерналистской парадигмы власти, в котором ему косвенно помогли и сами большевики, озверело набрасывающиеся друг на друга в связи с отступлениями от (неведомо какой) «генеральной линии партии», и особенно народ, которому психологически необходим был ритуал наказания тех, кто, по его представлению, допустил «перегибы» коллективизации и карточной системы. «Сталинский» террор в своих психосоциальных основах стар, как мир; все дело лишь в масштабах, они же вполне соответствуют грандиозности «красной смуты». Для его осуществления Сталину вовсе не обязательно было персонально являться параноиком; достаточно было массовой социальной параноии, которую в состоянии был теперь направлять и более слабый харизматик. Тем не менее современное общественное сознание все ещё пробавляется обсуждениями неосталинистских версий о всевозможных «заговорах» против «вождя», даже не задумываясь о том, что в те годы взаимная подозрительность ставила в ряды злоумышленников всякого, кто прямо или косвенно бросал тень на сакральность власти или нарушал её новую орденскую иерархию. Всякий, кто рискнёт заговорить сегодня о психосоциальной

<sup>7</sup> Новейшая отечественная литература, посвящённая выявлению причин «сталинского» террора, огромна. В целом все авторы пытаются решить проблему в рамках схемы «борьбы за власть». Из последних исследований такого рода привлекает внимание разве что работа О.В. Хлевнюка [Хлевнюк 1996]). Основная же масса публикаций, чрезвычайно бедных новыми источниками, производит впечатление бесконечного толчения воды в ступе, порой с редкостным апломбом – в данном случае можно говорить о простой коммерциализации темы [см.: Роговин 1996а; Он же 1996б]. Единственное «открытие», которое удалось сделать в работах такого рода, связано с констатацией факта, что Сталин избавлялся от коммунистов, которые не вписывались в систему его представлений о власти. Но это и без того ясно даже западным авторам, не имевшим возможности рыться в архивах КГБ [Malia 1994: 255–257].

<sup>8</sup> Эта версия, выдвинутая известным литератором Э. Радзинским [См.: Радзинский 1997], склонным изыскивать во всех поворотах истории альковные тайны, усердно пропагандировалось на телевидении.

неизбежности усиления репрессивности режима, рискует оказаться невольным защитником «палача». Террор – это своеобразное зеркало социально-исторического подсознания, вглядываясь в отвратительный лик которого не желает никто. Между тем общество, не признающее своей собственной косвенной ответственности за случившееся, лишается естественного противоядия против его рецидивов.

Во всей своей деятельности Сталин исходил из тех или иных исторических «стандартных ситуаций», скажем, борьбы Ивана Грозного против «изменников-бояр», как «марксист» полагая, что на новой формационной ступени он производит аналогичную «революционную» работу. Но все это преломлялось в его сознании сквозь призму межпартийной и внутрипартийной борьбы времён Ленина. При этом Сталин, вполне не понимавший смысла прошлой борьбы или спускавший её на обыденный уровень, склонен был решать все проблемы, опираясь на исторически мифологизированный террористический опыт Гражданской войны – время своего властного возвышения. Не случайно одним из ключевых слов из обвинительно-репрессивного жаргона тех лет стало слово «троцкист». Если «вредитель» и «враг народа» выступали как термины inferнально-безличного ряда, то «троцкисты» и другие «предатели» представляли персонифицированными воплощениями исторически известных фигур раскольников и изменников<sup>9</sup>. Троцкий, безусловно, лучше всех годился на роль нового Курбского.

Другое дело, что общий замысел Большого террора был доведён до поистине inferнального абсурда его исполнителями – в очередной раз «бюрократический радикализм», соединившись с глупостью и озлоблением чиновничества, породил не просто трагические, но и разрушительные для системы последствия.

Новейшие исследования Большого террора помогают кое-что прояснить и в его внутренних закономерностях. Считается, что за два года было уничтожено 70 % состава ЦК ВКП(б), 87 % высшего командно-политического состава РККА, почти половина командного и начальствующего состава армии, от командира полка и выше, практически всё старое «доезовское» НКВД [Известия ЦК КПСС. 1989. № 3: 137; Военно-исторический журнал. 1990. № 2: 21–24; 1993. № 1: 56; Вопросы истории КПСС. 1991. № 6: 8; Исторический архив. 1994. № 1: 68]. Кого уничтожил Сталин? Тех, кто таил в себе потенциальную угрозу для системы – «идейную» и «силовую». Полностью застрахованными от репрессий оказались только люди из ближайшего окружения Сталина, слепо преданные ему. Таковых оказалось в конечном счёте немного: К.Е. Ворошилов, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, Л.П. Берия, А.А. Жданов. Даже «проштрафившимся» Н.И. Ежовым, считавшимся в народе «неуязвимым», пришлось пожертвовать.

С жертвами террористической волны против «классово чуждых элементов» ситуация была сложнее. Возникает вопрос: кого охотнее отправляли на расстрел? И тут выясняется, что, если в среднем «тройками» приговаривалось к высшей мере наказания почти 50 % арестованных, то по «национальным» делам – 71,3 %. При этом процент расстрелянных по «польской линии» (самой крупной) был много выше этой цифры. Оказывается, что из массы всех осуждённых поляков в период с 25 августа 1937 г. по 15 ноября 1938 г. было расстреляно 79,4 % всех осуждённых. Обнаруживается при этом, что суды и трибуналы выносили «польским шпионам» смертные приговоры даже более охотно, чем «тройки». По греческой, финской и эстонской линиям ставили к стенке с ещё большей лёгкостью [Репрессии против поляков... 1997: 33, 40].

Наиболее масштабной оказалась так называемая кулацкая операция, начатая по приказу № 00447 летом 1937 г. Причина её очевидна: введение всеобщего избирательного права со-

<sup>9</sup> Судя по всему, «троцкист» понимался ещё и как суетный индивидуалист: во всяком случае, именно так уверенно характеризовал Хрущева Каганович [Каганович 1997: 563].

гласно новой Конституции СССР требовало тотальной зачистки социального пространства, устрашения общества и переструктурирования управленческой системы. Отличительной чертой террора 1937–1938 гг. был его плановый характер – начальные импульсы исходили из центра, доносы сыграли относительно небольшую роль, зато низовые карательные и партийные органы получили возможность превзойти лимиты и тем самым продемонстрировать свою преданность системе<sup>10</sup>. Репрессии этого времени получили название Большого террора, что вряд ли вполне справедливо: акции 1929 г. и 1940-х гг. были масштабнее, приговоры по так называемым национальным операциям были более жёсткими. В глазах участников репрессий карательные действия против 1 % населения также вряд ли казались значительными. «Большим» террор мог показаться в связи с «открытыми» процессами, вызвавшими шок у политической элиты страны. А между тем для власти куда важнее было избавиться от кулаков, уголовников и «социально опасных и вредных» элементов – за спиной «открытых» процессов стояла действительно масштабная зачистка социального пространства.

В целом выполнение приказа № 00447 приобрело черты типичного для того времени соцсоревнования, в ходе которого местные органы усердно демонстрировали своё рвение, поспешно выбирая всех «лишних». При этом сравнительно с репрессивными акциями предыдущего периода доказательство вины приобрело формальный характер, ещё более заметным стало стремление к раскрытию всевозможных «заговорщических групп», «контрреволюционных» и «шпионских» организаций. Повсеместно появились «встречные планы» – готовность местных чекистов и партийных руководителей превысить спущенные сверху «лимиты». Обнаружились и настоящие «стахановцы», происходило неуклонное втягивание в террор с помощью различного рода поощрений широкого круга служащих карательных органов. Поскольку террор осуществлялся крайне поспешно, на местах, несмотря на угрозу наказания, шла повальная фальсификация социального состава репрессированных – он должен был максимально соответствовать указаниям вышестоящих организаций. В ряде случаев террор оборачивался против самих чекистов: их могли расстрелять как за «саботаж» (недостаточное усердие), так и за нарушения «социалистической законности».

Поскольку «раскулаченным» было трудно предъявить новое убедительное обвинение, им на сей раз инкриминировался широкий круг преступлений – от контрреволюционности до шпионажа. Разумеется, была масса нарушений тогдашней «законности» – под видом кулаков расстреливали лиц, просто негодных местным властям, или портящих облик «социализма» «бомжей». В общем, наиболее рьяно уничтожали «белогвардейцев» (практически 100 % обвиняемых), на втором месте, как ни странно, оказались «церковники». Побочные последствия Большого террора оказались неожиданными: немиллицейская форма борьбы с преступностью оказалась крайне неэффективной, в число арестованных попала масса осведомителей. Если до 1937 г. мелких преступников отпускали для того, чтобы сберечь рабочую силу на производстве, то теперь на ряде предприятий попросту некому оказалось работать. Как итог, преступность стала более скрытной и изошёренной, но её масштабы отнюдь не уменьшились.

В общем, в выполнении приказа № 00447 обнаружились элементы явного «вредительства». Поскольку в результате деятельности палачей-стахановцев планы «раскулачивания» оказались бессмысленно превышены, в 1939 г. репрессии пришлось сворачивать – в этом году было арестовано «всего» 44 731 человек, т. е. в 15 раз меньше, чем в предыдущем [Репрессии против поляков...: 83]. И в связи с этим тоже рождались легенды.

<sup>10</sup> По вопросу о происхождении и технологии Большого террора существует огромная литература. В основной своей массе она не содержит ничего, кроме страхов и «разоблачений» – чаще показушных. Как ни странно, наиболее взвешенной работой о смысле происходившего следует считать небольшую «популярную» статью Л. Максименкова [Максименков 2007: 28–31].

Как известно, в своё время с понятной целью была запущена пропагандистская утка – от «сталинских» репрессий больше всех пострадали сами чекисты. Действительно, ключевой фигурой насилия стал теперь не заурядный насильник-садист, а иной типаж – нечто вроде «полуслепого» карателя-жертвы. Правда, среди палачей оказывались «ударники», самолично расстрелявшие по тысяче человек, но истинным палачом была система, карательная машина которой нуждалась в кровавой смазке внутренних частей своего механизма. Внутриведомственный террор был совершенно изоморфен общему репрессивному процессу: НКВД последовательно очищался от представителей «чуждых классов», «враждебных партий», представителей «иностранных национальностей» (поляков, немцев, латышей). Столь же естественно, что их сменили лояльные и малообразованные «рабочие» и «крестьяне» весьма юных лет – русские, украинцы и, естественно, грузины. Но оказывается при этом, что среди руководителей НКВД непомерно возрос в 1938 г. удельный вес чекистов с «неблагополучным детством» – из неполных семей, беспризорников, детдомовцев и т. п.

Известного рода представления о тех «неисчислимых потерях», которые понесли от сталинского террора «доблестные» чекисты, сильно преувеличены. Чистки в НКВД были не столь жёсткими – сравнительно с «качеством» его кадров. О собственно внутриведомственном терроре можно говорить лишь применительно к 1937–1939 гг., причём пик его связан с четырьмя месяцами 1938 г. и первым месяцем 1939 г. [Петров, Скоркин 1999: 494–500]. Из общей массы чекистов в это время аресту подверглись около 14 %, что ниже удельного веса репрессированных среди военных и партийных работников того же уровня.

Кого же из чекистов арестовывали в это время? Оказывается, половину составляли русские и украинцы, почти треть – евреи, среди остальных – одиночные представители армян, белорусов, латышей, поляков, немцев. В общем, можно сказать, что здесь проявляли себя те же тенденции, что и в иных особо важных для системы ведомственных сферах.

Поражает невероятно низкий образовательный уровень чекистского начальства. Оказывается также, что непропорционально велик был удельный вес лиц, пришедших в ВЧК–НКВД из армии – как дореволюционной, так и Красной. Они и делали поистине головокружительную карьеру в большевистских спецслужбах. Встречаются удивительные судьбы. Так, человек по фамилии Марсельский был родом из чувашской деревни. Он, впрочем, окончил ещё до революции городское высшее начальное училище, в 1917 г. – школу прапорщиков, а в 1920 г. – высшую школу РККА и курсы марксизма-ленинизма. Начинал он чекистскую деятельность в Чувашии, затем работал в экономических, дорожно-транспортных и контрразведывательных подразделениях НКВД Восточной Сибири, Казахстана, Урала и Крыма. С 1943 г. – генерал-майор, был награждён семью орденами (включая два Красного Знамени, два – Отечественной войны 1 степени, один – орден Ленина). Был уволен в запас из МГБ в 1948 г., с 1951 г. – пенсионер, окончил свой жизненный путь в 1972 г. в Ялте [Там же: 290–291].

Также дослужившийся до генеральского звания другой орденосец М.И. Маркеев хотя и отличился в деле «советизации» западных областей Украины и Белоруссии в 1939 г., был уволен из МВД в 1954 г. «по служебному несоответствию». И это несмотря на то, что, по некоторым данным, его ещё ранее увольняли «за провал порученного дела и необоснованные аресты граждан» [ГУЛАГ: Его строители, обитатели и герои 1999: 101].

Е.И. Кашкетин (Скоморовский) в 1936 г. был отстранён от работы в НКВД в связи с диагнозом «шизоидный психоневроз». Несколько позднее он тем не менее «прославился» как организатор операции по усмирению зэков на Воркуте и Печоре. В 1938 г. в результате «кашкетинских расстрелов» погибли более 6 тыс. протестующих зэков. Сам палач был приговорён к смертной казни 8 марта 1940 г. [Там же: 65–66].

Какие социальные слои оказались слабо представлены в руководстве НКВД? Обнаруживается, что практически отсутствуют выходцы из дворянского и духовного сословия. Ясно, что ни то ни другое не афишировалось – в противном случае появлялись дополнительные шансы на то, чтобы, скажем, разделить судьбу дворянина и анархо-коммуниста В.А. Кишкина, расстрелянного в феврале 1938 г. в качестве «троцкиста», или сына чиновника и недоучившегося студента физико-математического факультета МГУ В.М. Сперанского, приговорённого к высшей мере наказания в апреле 1940 г. [Петров, Скоркин 1999: 231–232, 392–393].

Наряду с этим при всем «интернационализме» чекистов среди них практически не было мусульман (за исключением немногих азербайджанцев), а также представителей народов Поволжья (лишь один упоминавшийся). Отнюдь не всех представителей «иностранных национальностей» ожидала участь агентов «вражеских разведок». Так, Ф.Д. Ульрик, в годы Первой мировой войны эвакуировавшийся с семьёй в Петроград, где в 1917 г. числился безработным и членом партии анархо-коммунистов, в июне 1936 г. был приговорён к пяти годам лагерей «за систематическое пьянство, хищения, растраты и подлоги» [Там же: 414–415]. Правда, последующая его судьба неизвестна.

Лиц, подходящих под хрестоматийные параметры основателя ведомства Ф.Э. Держинского, в НКВД 1930-х гг. нет. О чем это говорит? Вывод может быть только один: в 1930-е гг. вольно или невольно происходил отбор такого кадрового состава, который был лишён традиционных нравственно-психологических сдержек для грязной работы.

НКВД, особенно его гулаговская часть, пополнялась настоящими подонками общества. Так, в 1937 г. сами руководящие работники ГУЛАГа публично заявляли, что их кадровый состав пополняется за счёт людей «спившихся», в августе 1938 г. это связывалось с действиями «вредителей». В начале 1938 г. на руководящие должности в лагеря было направлено свыше 3 тыс. коммунистов и более 1 200 выпускников вузов. В 1939 г. из оперативного состава НКВД было уволено 7 372 чел., в том числе из центрального аппарата – 695. Пополнение за это же время составило 14 500 чел. На работу в центральный аппарат поступило 3 460 чел. [ГУЛАГ...: 88, 85–86, 83]. Но вряд ли это принципиально исправило положение.

Гулаговская система также представляла собой если не воплощение первобытных страхов, то перманентного недоумения. Особенностью её было то, что в отличие от гитлеровских концлагерей большинство его узников не могли понять, за что они страдают. Более того, от них хотели, чтобы они радовались<sup>11</sup>. К тому же в них смерть была как бы побочным или даже «случайным» продуктом наказания, но вовсе не его целью. Неясность вины и неопределённость конечной кары – это знак не только ГУЛАГа, но и всей советской системы, так или иначе мистифицировавшей соотношение преступления и наказания<sup>12</sup>.

Не приходится удивляться, что «порядок» ГУЛАГа для многих сидельцев оказывался предпочтительнее колхозной «воли». Даже в 1950-е гг. некоторые лагерницы-крестьянки сожалели, что не могут отправить хлеб, который «каждый день дают», своим голодающим, но «свободным» (по-колхозному) детям [Эпплбаум 2006: 215]. В целом колючая проволока не просто разгородила социальное пространство СССР на «свободных» и «заклужённых». Следовало бы подумать, какой след нравы гулаговцев оставили в социально-исторической психологии подданных коммунистической империи. Известно, что официальная пропаганда писала о том, как «счастливы (в лагерях. – В. Б.) наши чудесные дети» [Там же: 306], а тем вре-

<sup>11</sup> В. Буковский вспоминал об этом так: «В наших лагерях тебя хотели сделать не просто рабом, но таким, который поёт и улыбается во время работы. Им было мало нас давить – они хотели, чтобы мы их за это благодарили» [Цит. по: Эпплбаум 2006: 237].

<sup>12</sup> К сожалению, новейшая история ГУЛАГа пишется по формальной схеме: от мест перевоспитания к лагерной экономике [Иванова 2006].



менем выяснялось, что выжившие юные узники ГУЛАГа безнадежно отставали в своём развитии и уже не понимали, что такое дом и семья [Там же: 307–308, 310]. Часть из них превращались в маленьких монстров, пополняющих взрослое преступное сообщество [Там же: 315–316].

ГУЛАГ был органической частью советского строя. Вряд ли простые люди видели в лагерной системе что-то нарушающее «естественные» для СССР человеческие права. Лагерники, в свою очередь, привыкали к перманентному унижению и такой принудительной трудовой деятельности, когда понятие обязательности (вполне совместимое с христианской этикой) оказывалось неуловимо размыто принципом подневольности. Ну а советские руководители, разумеется, были убеждены, что они всего-навсего выполняли и перевыполняли «начертанные партией» грандиозные народнохозяйственные планы [Там же: 267], ибо даже в специальных детских лагерях широко пропагандировали труд «стахановцев» [Там же: 314]. Революционный террор закономерно обернулся советским вариантом крепостничества.

Реальную историческую загадку представляет, однако, не проблема сталинского террора, а феномен отечественной «солидарности с террором» в советском воплощении. А это касается уже особенностей коммунистической харизматики. Дело в том, что до поры до времени в образе Сталина нельзя было рассмотреть ничего возвышающе-героического. Некий анонимный член партии, «рабочий от станка», в 1927 г. писал Сталину: «Троцкий борец, он сила и честный член партии... При таком гнилом ленинизме, занятом Вами, мы скоро свалимся» [Письма во власть: 605]. И вот этот самый человек поразительно быстро стал превращаться в нечто противоположное. Очевидно, Сталину приходилось изначально учитывать инерцию негативных представлений о себе самом, преодолеть их в одночасье было невозможно. Здесь, как и во всем, он действовал как заурядный эпигон, умеющий, однако, своеобразным «верхним чутьём» выдрессированного революцией животного улавливать общественные настроения и предрассудки. Так или иначе, он понял, что жажда равенства и гипноз новизны связаны с деспотизмом незримыми узами, ибо бывшего раба к непривычной свободе непременно кто-то должен вести. Исследователи до сих пор не принимают во внимание эти особенности примитивной, едва ли не животной, но в данной исторической ситуации вполне функционально действующей психики Сталина.

Социализм стал строиться средневековыми методами. Ничего удивительного: в бездну прошлого люди проваливаются именно тогда, когда нерасчётливо пытаются запрыгнуть в будущее.

\* \* \*

Любопытно в связи с этим превалирующее отношение к самой личности Сталина: никто не усомнится в его воле и уме. Это типичный отголосок фетишизации власти, похоже, ничуть не изжитый. Критические эпохи выдвигают людей вовсе не по их лучшим качествам, тем более не тех из них, которые импонируют интеллигентным обывателям (эгоистично требующим покровительственного отношения к ним самим и подавления тех, кто их чем-то не устраивает), а напротив, по девиантным личностным параметрам, выпадающим из общепринятой нормы. Похоже, что Сталин в полной мере смог использовать этот архаичный феномен. Но как ему это удалось? По своим интеллектуальным качествам «вождь» был более чем зауряден; обычной полемики людей образованных он не переносил (отсюда привычка отвечать на схоластические вопросы специалистов объёмистыми письмами-статьями); многих элементарных вещей он попросту не понимал, а потому предпочитал до поры до времени помалкивать или «мудро» популяризовать банальности. Сталина постоянно преследовал страх от сознания собственной неполноценности: ранее он подавлялся близостью людей, не знающих сомнений, теперь он усугублялся тяготами свалившейся на него ответственности.

Поэтому он действовал не соответственно авантюристичному и наглому меньшинству, а следуя пассивному и осторожному большинству, что, разумеется, выдавалось за мудрость.

Как ни странно, Сталину помогла его собственная закомплексованность. Человек, сизмальства ощущавший собственную убудочность, способен был только подражать людям, которые интеллектуально стояли выше его. Определяющей чертой его характера было стремление преодолеть неуверенность в себе, что было изоморфно общественному умонастроению 1920–1930-х гг. Не случайно он постоянно заимствовал (пусть невпопад) предложения своих политических противников – особенно Троцкого. Но Сталин вслед за тем не просто стремился к уничтожению своих «учителей». Ему важно было «заклеймить» их до такой степени, чтобы самая мысль о подобном заимствовании никому не могла прийти в голову. Вместе с тем Сталин упорно учился на «ошибках» других революционных вождей. Довольно быстро он разглядел, что основная их слабость (как всей русской интеллигенции) – в неумении быть понятными народу, особенно в условиях усталости последнего. И потому он избрал для себя беспрюгрешное амплу «медиума» – посредника между идеей и толпой. Вовсе не случайно то, что он постоянно читал все учебники и питал особую слабость к беллетристике [Шекунова 1999: 175–180]. Собственно, именно русская художественная литература подсказывала ему, как себя вести и какая социальная среда является для него выигрешной. В принципе как человек, якобы не знающий сомнений, он определённо «выигрывал» на фоне российского хаоса.

Сталин, подверженный ксенофобии, был органически противоположен революционно-интернационалистской миссии – отсюда и его установка на строительство социализма «в одной, отдельно взятой стране», и его особые взаимоотношения с Гитлером. Он панически боялся войны (хотя убеждение, что очередной виток мировой революции начнётся именно с неё, имело устойчивое хождение в большевистских кругах), опасаясь, что она враз откроет его человеческие слабости – отсюда желание оттянуть её начало. Он почти физически ощущал собственное убожество – с этим связано почти навязчивое стремление уйти в тень Ленина. Понятно, что трудно смириться с мыслью, что человек с ущербной психикой бастарда оказался столь же изоморфен ходу возрождения имперства снизу, как некогда пронизательный до цинизма, жёсткий до аморализма Ленин – разрушительной стадии его кризиса. Характерно, что Ленин никогда не заискивал перед толпой, он никогда не произнёс бы сталинское «Дорогие братья и сестры!», хотя искренне мог призывать «учиться у масс». Сталин, напротив, всегда хотел нравиться – в том числе и низам. Но как ему удалось добиться не только эстетизации насилия, но и закрепления его в качестве важнейшей доминанты обновлённой российской деспотии на долгие десятилетия?

Вероятно, психоанализ всегда будет казаться навязчивым и потому сомнительным «научным» методом. Возникает и другое предубеждение против него: не пытается ли «железный» век покрыть свой революционный «грех», выворачивая мятушуюся душу человека её вульгарной изнанкой? Как бы то ни было, в данном случае без психоанализа не обойтись. Это естественный исследовательский императив тех, кто ощущает недостаток «простого» фактического материала для постижения духа революционного сокрушения.

О личности Сталина написано много вздорного – иного и быть не может при попытках понять скрытые причины его невероятного возвышения. Представляется, что на этом фоне заслуживает первостепенного внимания версия Ф. Помпера, несмотря на то, что американскому автору сей субъект представляется куда менее интересным, нежели Ленин и Троцкий. В отличие от Ленина, являвшего собой наиболее чистый тип гиперкомпенсации (спонтанного восполнения младенческой малоподвижности), и Троцкого, чья детская ущемлённость и этническая второсортность трансформировались в афишируемое чувство личностного превосходства, Сталин, по мнению этого пронизательного автора, так и не преодо-

лел своего комплекса неполноценности. Он вынужден был по-своему восполнять недостаток боязливой обожания со стороны, удовлетворяя уродливо изломанные порывы души в рамках «большой семьи». Нацмен низкого происхождения с сомнительным папашей и несомненными дефектами физического развития просто не мог в отличие от учителя-Ленина и антипода-Троцкого самореализоваться в нормальной социальной среде, а потому прилепился к революции – сначала подобием благородного разбойника, затем скромного её организатора. Он вкрадчиво утвердился у власти, искусно играя на чужих слабостях [Ротберг: 154] – явление вовсе не столь необычное вообще, в России – в особенности.

Похоже, что Сталин не мог успокоиться даже в лоне счастливой семьи, ибо и тут его постоянно подстерегал страх предательства со стороны ближних (в форме боязни, что они не оправдают его высоких надежд или окажутся слишком самостоятельными). Вовсе не случайно Сталин терпел длительное время возле себя лишь тех, кто органически не способен был его превзойти, не смел перечить, но зато самым фактом своего существования каждый раз подтверждал его правоту. Но ещё любопытнее другое: Сталин умел производить впечатление на людей разных – актёрство – непреходящий спутник диктаторства.

Как правило, коммунистические вожди, сознавая сакральную ущербность своего властвования, охотно (как Троцкий) или с деланной скромностью (как Ленин) позировали перед фотографами, художниками, ваятелями. В 1926 г. Сталин позировал скульптору М.Д. Рындзюнской, женщине, как видно, с воображением, хотя и не очень догадливой. Она сделала его бюст – откровенно «нерусский», идолоподобный, оставшийся, разумеется, невостребованным. Но куда более известной малоудачливая ваятельница стала своими многочисленными выступлениями с воспоминаниями о Сталине среди молодёжи. То, что вождь показался ей «исключительно скромным, мягким, деликатным», столь же понятно, как и быстрое стремление соорудить ему «волевой» подбородок. Но интереснее всего другое: Сталин показался ей «человеком среднего роста и очень широкими плечами» (ни тем ни другим «вождь» никогда не обладал, чтобы не сказать больше). Перед ней якобы предстал человек, «обладающий исключительной внутренней силой, в спокойной до невероятия позе без малейшего движения», способный, ко всему, глядеть «только прямо и только вперёд» [Меня встретил человек среднего роста... 1992: 113, 115, 116]. Похоже, Сталин либо намеренно изображал перед скульптором нечто величественное, либо сам по себе сработал фактор фетишизации и эстетизации властного начала с непреходящей аберрацией восприятия физического облика его носителя<sup>13</sup>. Облик вождя должен соответствовать людским ожиданиям.

Врач И.А. Валединский, пользовавший «гения» с 1926 по 1940 г., также был несколько старше своего клиента годами, что не мешало и ему смотреть на него снизу вверх. Диктатор был существом болезненным: страдал ангинами и невралгическими болями в конечностях (т. е. чувствовал себя уязвимым). В быту же он оказался «душкой» – любителем «коньячку», игры с детьми в солдатики и даже умел изображать курицу. Но при этом «вождь» не забывал просветить лекаря, что он «мелочами не занимается», в прогнозах своих никогда не ошибается [Врач и его пациент: 121–123]. Как видно, Сталину недоставало живого контакта с массажи; избегая в отличие от Троцкого частых публичных выступлений, он в душе предпочитал «индивидуальную работу» с кадрами.

В литературе – даже научной – давно принято считать Сталина искуснейшим лицедеем. Разумеется, власть приучает людей определённого склада и к этому – даже без штатных ими-

<sup>13</sup> Разумеется, нельзя не учитывать и целенаправленной эстетизации изображений вождей. К пятидесятилетию Сталина появился главлитовский циркуляр, предписывающий печатать его портреты только со снимков, полученных из «пресс-клише РОСТА». Поражает, насколько тщательно в дальнейшем цензоры 1930-х годов следили за тем, чтобы публикуемые портреты вождей соответствовали некоему «идеалу» [У мысли стоя на часах... 180, 182–185, 188].

джмейкеров. Но не следует ли допустить, что помимо властного актёрства извечная фетишизация власти, особенно абсолютной, заставляет – всех людей, включая самых раскованных и пронизательных, видеть живых «вождей» словно в совершенно особом, сюрреалистическом освещении? Иначе неясно, что заставляет даже образованных людей с замиранием сердца внимать человеку, все актёрство которого заключалось в том, что он научился лишь многозначительно растягивать свою неизживаемую базарную скороговорку?

В ноябре 1930 г. случилось невиданное: нелюдимый Сталин дал интервью иностранцу, корреспонденту «Юнайтед пресс». Впечатления таковы: крепко сложенный человек, среднего роста, в «чёрных» (!?) волосах «проблёскивает седина», и «хотя, по-видимому, состояние здоровья Сталина прекрасно, лицо его показывает следы тяжёлого труда». Можно предположить, что эта первая встреча с иностранным журналистом далась «вождю» нелегко, но с задачей он справился – главным образом потому, что корреспондент заранее представлял его совершенно иным человеком. Для того чтобы развеять зыбкий, основанный на стандартных предположениях другой политической культуры образ, оказалось достаточно прикинуться все тем же «душкой» – человеком запросто узнаваемым. «...Он не оправдывает общего представления о «стальном человеке», он очень человечен, легко улыбается, одарён острым умом, но приятным юмором, – уверял корреспондент. – Во время нашей беседы запросто вошёл Ворошилов и по моему приглашению (!) остался с нами...». У становящегося легендарным военачальника как нельзя кстати также оказался «юношеский, здоровый вид». Понятно, что журналист мгновенно оттаял. Его не стоило труда убедить, что слухи о «восстаниях, бунтах, арестах» – полнейшая чепуха, которую даже не стоит опровергать, что Сталин во все не диктатор, ибо, «если когда-либо партийные массы разойдутся с ним во мнениях, то его лидерство закончится и будут выбраны другие руководители» [Кабанов 1997: 185–186]. Дело было сделано, лихое вранье показалось подкупающей искренностью, Сталин предстал таким, каким хотел. И в этом ему помогло то, что в нем готовились увидеть, во-первых, олицетворение кровавого диктаторства, во-вторых – мрачного и непреклонного догматика от марксизма. Как «пролетарско-крестьянские», проникнутые сиротской тоской по «отеческой» власти массы, так и зарубежный репортёр, неожиданно приближенный к таинственному правителю, инстинктивно боялись убедиться в своих мрачных ожиданиях. Им не хотелось видеть ни тирана, ни сухого доктринёра, и потому они легко поверили безыскусному лицедею.

В любом случае и в действительности трудно было найти человека, более далёкого от марксизма в любом истолковании последнего, чем Сталин. Политэкономия он понимал в лучшем случае на уровне I тома «Капитала» (как, впрочем, и Ленин), делая из неё – если не чисто бюрократический, то по-русски «государственный» вывод, что прибавочную стоимость лучше изымать не тем, кто стремится к индивидуальному обогащению, а кто способен «справедливо» её распределять. Идея естественной связи между производством и рынком казалась, должно быть, ему такой вздорной, как отцу большого семейства мысль о самоуправлении внутри него с помощью денег. Не случайно Сталин до конца жизни не признавал политэкономии социализма (впрочем, для его системы хозяйства она действительно была излишней). Как бы пытаясь компенсировать своё невежество в областях, непосредственно затрагивающих жизненные интересы масс, Сталин позднее инициировал дискуссии на более отвлечённые темы – в частности в языкознании. Каким профаном он бы ни был в действительности, правила игры во власть требовали того, чтобы её возглавлял человек, сведущий абсолютно во всем. Сталин по мере сил и талантов лицедейства пытался поддерживать эту иллюзию.

Похоже, что массы, со своей стороны, ценили в Сталине не только революционную легенду, но и «своего». Увы, в годы, когда свирепствовал террор, раскулачивание добралось до чукотских оленеводов, среди которых в невероятном изобилии обнаруживались «классово-

враждебные» элементы (тут же с истинно марксистской находчивостью названные «феодалными»), а колхозники могли лишь заваливать инстанции слезными просьбами о снижении спущенных сверху норм урожайности и налоговых ставок, усердно разоблачая при этом всевозможных «вредителей» из числа «замаскированных кулаков» [РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 48. Л. 117, 126–128, 152об., 158, 165, 192, 231; Д. 134. Л. 56], не говоря уже об офицерах, буржуах и прочих «царских прихвостнях» и «пробравшихся в партию» евреях, новый слой трудящихся «Страны Советов» дружно писал письма наверх с предложениями о переименовании столицы «всего прогрессивного человечества» в Сталинодар [ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 2156. Л. 3–9], а городские самоучки плодили бесчисленные прожекты безбрежного обобществления всего и вся на благо державы и коммунистического будущего. Архивы хранят целые пласты документов такого рода. И этому не приходится удивляться: в основе российских крестьянских утопий лежало общемирское представление о власти.

Поразительно, но люди стали нетерпимы к любым отступлениям от навязываемых «норм» – даже толстовские коммуны стали именоваться «кулацкими» [Там же: Д. 2176. Л. 33 об.-14]. В одной заводской многотиражке «врагами народа» пытались объявить скопом заурядных несунув – бдительная цензура пресекла, однако, и невольную попытку превращения тружеников «пищевого гиганта» в воровское сословие, и стихийное стремление поднять их «несознательность» на уровень политического зла [У мысли стоя на часах...: 184]. Агрессивность низов надо было не только правильно канализировать, но и дозировать. Приоритет социально-воспитательного почина безоговорочно отдавался теперь государству, было признано, что социализм следует строить по единому, «спущенному сверху» шаблону.

Механизм восстановления абсолютной власти через террор имел в России ещё одну любопытную особенность. Исследователи, как ни странно, не задались вопросом: почему Большому террору предшествовали «открытые» процессы? Ясно, что в данном случае открытость – естественная в правовом обществе – могла нести на себе принципиально иную нагрузку. Если так, то в чем она состояла?

Методом «открытых» процессов система, построенная на номенклатурном принципе «подбора и расстановки кадров», избавлялась от элементов, объективно ставших для неё «лишними». К тому времени высшие партруководители могли выйти из системы только вперёд ногами: естественным, суицидальным и расстрельным путём. Увы, большинство здравствовавших к тому времени «пламенных революционеров» было все же слишком молодо для того, чтобы вовремя освободить номенклатурное пространство своевременным уходом в лучший мир. Второй способ в 1930-е гг. теперь (в отличие от 1920-х гг.) считался «антипартийным»: не случайно некоторых высокопоставленных самоубийц объявляли жертвами – болезней или «врагов». Оказывается, из когорты революционных вождей все же можно было выйти «с честью» – признав себя «полезным» для партии ее внутренним врагом.

Понять возникшую ситуацию человеку иного исторического времени довольно трудно, если возможно вообще. Похоже, что некоторые «вожди Октября» из изолированного революционно-утопического пространства переместились в замкнутую клановую среду, в которой попросту не могли «найти себя». А поскольку иной среды обитания они не знали, им оставалось исполнить последний «революционный» долг – своей недостойной смертью подтвердить святость идеалов и сакральность новой государственности. Но если сами вожди признавали свою вину перед государством, то что могли ощущать все остальные его подданные?

«Открытые» процессы как бы связывали социальное пространство чувством перманентной вины «несовершенных» людей перед «совершенным» государством, для которого теперь не существовало «неприкасаемых». Это следовало усвоить всем. Вероятно, хорошо поняли это и подсудимые, с готовностью – словно исполняя свой последний партийный

долг – публично, на глазах всего изумлённого мира, признавшиеся во всех мыслимых и немыслимых грехах. Тогдашняя «открытость» становилась способом уравнивать всех подданных коммунистического Левиафана в служении целям, понять «величие» которых им самим было не дано.

Имелся ещё один аспект, превращавший «открытые» процессы в функциональную величину укрепления власти. Для русского крестьянства формальное право оставалось «закрытым» – люди, привыкшие судить «по правде», т. е. карать за якобы очевидное, а не доказанное преступление, попросту тяготились навязанным им в 1920-е гг. соотношением преступления и наказания. А поскольку в 1930-е гг. крестьянская ментальность стала господствовать в городской среде, власть не могла утвердиться без демонстрации «общинной» формы репрессивности. В сущности, «открытые» процессы, где подсудимые с помощью соответствующей обработки умов представляли заведомо виновными, были не чем иным, как гигантской театральной сценой, где «номенклатурный суицид» символически соединялся с «народным» самосудом, представленным массой «горячо одобряющих» наблюдателей. Государство вовремя подсовывало удовлетворявшую людскую массу жертву, а само выступало безотказным орудием мести. О лучшем приёме расправы идеократически-патерналистской государственности с заведомо опасными «чужаками» не приходилось и мечтать. Именно «открытые» процессы как бы связали власть и массу круговой порукой террора, но при этом правители не только не потеряли своей независимости от народа, а напротив, упрочили её.

Массы, созерцая искреннее раскаяние коммунистических еретиков, тем более могли ощутить нечто вроде собственной врождённой виновности перед Властью. «Открытые» процессы скрадывали масштабность Большого террора. Да и был ли он большим, если от него пострадал в 1930-е гг. «всего» 1 % населения? Как ни парадоксально, в 1937–1938 гг. террор действительно не выглядел столь устрашающим – он стал казаться таковым лишь с приходом поколения, отказавшегося понимать его логику. В конце концов заговорили о 1937 г. потопки тех, кто пострадал от «открытых» процессов, а не по приказу № 00447. А потому до сих пор столь трудно бывает отделить собственно механику террора от исторической памяти о нем. Но не стоило бы забывать и о том, что иные жертвы «открытых» процессов вели себя так, как будто получали удовольствие от того, что являются актёрами в грандиозном спектакле, призванном возвысить то, без чего они не мыслили своей жизни – партии. Это вовсе не столь странно – просто случаются явления, которые трудно понять кому-либо, кроме историка. Людей Средневековья ход процессов над коммунистическими богоотступниками ничуть бы не удивил.

Ничто так не провоцирует иллюзии, как «чудо» возрождения власти. Естественными стали инициативы запредельного технократизма: кое-кто, развивая послеоктябрьские замыслы обобществления женщин, предлагал теперь социализировать самый человеческий организм, обязав его обладателей нести ответственность перед государством за его качественное содержание и особенно способность к расширенному воспроизводству [Общество и власть 1998: 153–158]. Ничего удивительного, если вспомнить, что один из героев А. Платонова умер от истощения, так и не закончив свой «общечеловечески значимый» труд «Принципы обезличения человека с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Увы, это не литературный гротеск, а реальность эпохи. Пресловутая «шигалеващина» из «Бесов» Ф.М. Достоевского оказалась поставлена на поток низовой самодеятельности.

Государство, со своей стороны, вновь откликнулось монументальной и другими видами пропаганды. Среди последних особенно пышно расцвело «важнейшее из искусств», одобренное жизнеутверждающей музыкой. Некогда Троцкий мечтал использовать кинематограф в качестве важнейшего средства отвлечения народа от «церкви и кабака». Теперь же ста-

линское Политбюро и лично вождь по-своему утилизировали идею своего главного врага: совмещая приятное с полезным, усердно обсуждали и цензурировали всю кинопродукцию, бдительно следя за поддержанием в ней оптимального баланса между пуританской благостностью, производственной тематикой и большевистской непримиримостью. Кино действительно стало важнейшим средством формирования «нового человека» – не по причине естественного раскрытия талантов (а их хватало), не благодаря мудрости партийного руководства (хотя его преимущественно поощрительный характер заметно выигрывал на фоне тупых запретов последующих десятилетий), а в силу того, что иллюзорность его жанра соответствовала призрачности тогдашних мироощущений. К тому же творческая интеллигенция стала нутром понимать как выгоды, так и опасности своего положения придворных иллюзионистов. Стрессовое ожидание рождало истероидные порывы и прорывы. Возникали новые «величественные» образы. Символизировать «новую» духовность предстояло гигантскому зданию Дворца Советов с указующей в неведомую даль статуей Ленина наверху<sup>14</sup>.

Искусство 1930-х гг. не было ни «социалистическим реализмом», ни сталинско-имперским «классицизмом», хотя коммунистические вожди и уверяли, что «классики» марксизма-ленинизма ценили именно классическое искусство [Каганович 1997: 530]. Проще сравнивать его мобилизационную направленность с нацистским зодчеством, хотя нельзя забывать, что взаимозаимствованная стилистика скрывала подчас существенные расхождения. Это искусство действительно должно было «принадлежать народу», а не элитам, ибо только с помощью эмоционально взвинченных масс можно было представить народные бедствия социальной добродетелью, а слабости человеческого существа использовать во благо бесчеловечной государственности. Народ и партия могли быть едины только через истовое служение идолу.

Подобно тому, как проблему нацизма давно рассматривают как проблему масс, а не проблему Гитлера, так и сталинизм – это вовсе не производное от личности «вождя» – существа более чем заурядного. В так называемой эпохе сталинского террора на деле самым поразительным являются не масштабы репрессий со стороны государства, а степень заражённости его подданных своего рода социальной вивисекцией. Кампания «чисток» в правящей партии, развернувшаяся с 1929 г., не только не привела к снижению её численности, но, напротив, увеличила количество коммунистов вдвое. Новобранцы моментально проявили себя по части всевозможных – порой фантастических – поклёпов на «спецов», инкриминируя последним, как правило, дворянски-белогвардейское, меньшевистско-эсеровское или купеческо-кулацкое прошлое. Раздражало то, что эти люди не мыслят ни как они сами, ни за них – последним нарушался важнейший патерналистский принцип. Понятно, что особым раздражителем становилось и еврейское происхождение. Но характерно, что для власти поначалу самым серьёзным прегрешением становилось утаивание того или иного факта биографии, а вовсе не само «непролетарское» прошлое. Это напоминало некое чистилище в «коммунистический рай». Донос (отнюдь не новость для России) стал чем-то вроде естественной формы проявления гражданственности и главным каналом обратной связи народа и власти, ибо теперь правители могли почти рефлекторно использовать в качестве «сигнала» самую отчаянную слезницу. Вряд ли случайно Сталин в начале 1937 г. публично вспомнил ленинское «учиться у масс», относящееся к 1917 г. Но речь шла вовсе не о примитивном поощрении насилия снизу или простом воспроизведении прежнего государственного патернализма. По замыслу все должны были решить те пресловутые «кадры», которые, выражаясь языком А. Платонова, способны были «беспощадно разложить действительность по классовому признаку». Делался «великий расчёт» на «максимального человека массы», способного по образ-

<sup>14</sup> Как ни странно, сами коммунистические вожди полагали, что при этом они не забывают и о памятниках старины [Каганович 1997: 528–529].

цу 1917 г. осуществить «новый технический большевизм». Требовался дикарь, способный выполнять команды.

Подобные установки вовсе не были чем-то необычным. Кн. Д.И. Шаховской, внук декабриста, один из основателей кадетской партии, бывший министр государственного призрения Временного правительства, работник кооперации и почитатель П.Я. Чаадаева, ещё в 1926–1928 гг. носился с идеей борьбы за воссоздание «единства русской культуры и за сознательное вовлечение в эту борьбу народных масс». Он надеялся на «надлежащую постановку краеведения как средства вовлечения в науку массы, оздоровление национальной мысли» и полагал, что обновлённые университеты и Академия наук способны сыграть в этом решающую роль [Шаховской 1992: 227–228, 235–236]. В 1934 г. он, изыскивая источники внутреннего пафоса, писал: «Всякая старая идеология и всякое старомодное христианство мне ещё менее по нутру, чем все это новое – тупое, одичалое, оголтелое – но всё же к чему-то новому ведущее» [Там же: 273]. Это уже походило на сверхмазохистское самодовольство заживаемого караса, вдохновляющего себя тем, что коллективное поедание его со сметаной способно облагородить помыслы революционных чревоугодников.

Люди русской культуры всегда, включая и периоды смуты, почему-то считали, что власть не забывает и их – вероятно, подразумевалось, что государство осуществляет вместе с ними часть общей великой культуртрегерской миссии. По иронии судьбы незадолго до ареста и расстрела в 1939 г. престарелый князь стал все чаще задумываться о смысле революции: «...Есть ли она просто бунт... Беспощадны бывают и бунты, и революции. Но бессмысленны бывают лишь бунты. Революция всегда исполнена смысла. Но каков же смысл русской?». Он полагал, что уже пройденный революцией этап – вовсе не «есть окончательный подвиг народа». Все происшедшее он сравнивал с «жестом Самсона, доведённого до отчаяния», который отнюдь не погиб, он «вышел на волю, израненный, но живой», а потому «только теперь начинается его великая творческая мировая работа» [Там же: 285–287]. Созвучие с некоторыми высказываниями Ленина 1917–1918 гг. налицо. Представители старой русской культуры почему-то никак не могли взять в толк, что «новый этап» революции призван окончательно избавиться от них самих, ибо возрождение империи не нуждалось ни в оправданиях, ни в сдержках, рождаемых извечной интеллигентской рефлексией.

И все же СССР не стал ни механическим продолжением «дела Октября», ни простым воспроизведением прежней имперской системы. Строго говоря, это и не восточный деспотизм, опирающийся на этатизацию основных средств производства, ни западный «тоталитаризм», ориентированный на овладение средствами массовой информации. Сталинская система – своего рода новое издание крепостничества – была более архаичной в своих психоментальных основаниях, а потому её можно представить как наложение на них того и другого, связывая это с традициями деспотизма Петра I. Одно это, как и любая неорганичность развития, таило в себе опасность для будущего. Имманентно интровертный и застойный характер российского патернализма оказался совмещён с идеей механического движения вперёд, автаркия стала противоестественно сожигательствовать с интернационалистским гегемонизмом<sup>15</sup>. Это противоречие могло бы разрешиться путём ритуализации революционаризма через систему символов, близких традиционной культуре. Но возникло ещё одно отличие от старого патернализма, усложняющее решение подобной задачи: идеократическое начало приобрело обнажённо-агрессивный характер, при этом его служители из подвижников превращались сначала в невольных карателей, а затем, в процессе самоликвидации, – в догматически мыслящих бюрократов. Власть была изначально химеричной; теперь, базируясь на внутренне противоречивых основаниях, она в принципе могла существовать только в ре-

<sup>15</sup> Этот момент был подмечен Р. Дэниелсом [См.: Daniels 1988: 412].



жиме оголтелого коллективизма, спускаемой сверху чрезвычайщины и периодически нагнетаемых психосоциальных стрессов. Последнее пока удавалось легко, тем более что при государственной монополии на информацию любая геополитическая подвижка внутри такой системы чуть ли не автоматически гипертрофированно воспринималась как угроза и её существованию, и её всемирно-исторической миссии. Но генетически система была обречена – разумеется, если бы не удалось сакрализовать её через «идеологию самодостаточного застоя» (типа «развитого социализма»), подкреплённую иллюзией самоликвидации или самоистощения враждебного окружения.

Самым уязвимым в системе было то, что её базовым элементом оставалась «экономика отвлечённых целей». Последняя составляла настоящее проклятье всей русской истории. Построенное на таких основах народное хозяйство оставалось относительно стабильным лишь до тех пор, пока народ разделял уверенность, что его жертвы не напрасны. Уже тяготы мировой войны показали, что терпению есть свой предел.

Революция была связана с мировой войной, а потому возникшей как её последствие «красной империи» суждено было до конца своих дней надрываться в непосильной гонке вооружений – таким способом власть смогла убедить массы, что их ближайший интерес связан с задачей её самовыживания. Возможно, именно это последнее стало основным долговременным итогом русской революции. При этом тех революционных лидеров, которые вовремя не поняли происхождения и меняющейся природы системы, неуклонно истощаемой допингом революционаризма, рано или поздно ждал сокрушительный провал. Обновленная имперско-патерналистская система, баланс внутри которой зависел от тонкого понимания «гармонии» порыва и смирения, не могла существовать без дисциплинирования «слепцов». Увы, большинство обществоведов все ещё оказывается не в состоянии оценить значение этой простой истины для судеб России в XX в.

Известно, насколько велико сегодня тяготение к упрощённому «тоталитаристскому» истолкованию советской истории, как заметен соблазн поставить в один ряд бесноватого ефрейтора и вкрадчивого генералиссимуса. Связь гитлеризма и сталинизма несомненна – то и другое – причудливо преломившиеся через этнонациональную психологию последствия Первой мировой войны. Но не более. Полагать, что именно большевизм спровоцировал германский нацизм [Nolte 1989], нет никаких оснований, хотя послевоенный шок и породил в Германии склонность к экстремистскому подражательству. В основе нацизма лежала социально-параноидальная форма складывания обычного типа нации-государства из некогда неоправданно разрозненных германских земель и несостоявшейся колониальной империи. Сталинизм, напротив, имел куда более глубокие и архаичные имперско-патерналистские, а не этно-государственные корни. При всей неприглядности общего умопомрачения постреволюционной эпохи он был воплощением новой волны российского культурогенеза, ориентированного на продолжение европейской традиции, а не отрицание её.

Сталинизм и гитлеризм чаще сравнивают по формально-статистическим показателям [Kershaw 1994; Wheatcroft 1996; Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison 1997], реже – по левацкой и антикапиталистической общности происхождения. В том и другом случае это напоминает заклинания против химер воображения: западная цивилизация воспринимает то и другое в контексте общего террористического отклонения от собственных идеалов, по своему замаливая грех былых восхищений перед грандиозностью «социалистического строительства». Рано или поздно придётся признать, что сталинизм вовсе не задавался специальной целью ввести в дьявольское заблуждение западных интеллектуалов, он решал чисто российские задачи, хотя ставил глобальные цели и формально выступал наследником европейской традиции. Он хотел быть «русским», но при этом нравиться всем.

Совершенно не случайно новая полоса – на сей раз не просто масштабного, но и истероидного – «ежовского» террора ознаменовалась не только принятием «конституции победившего социализма», но и появлением нового коммунистического священного писания – «Краткого курса» истории ВКП(б). Сей опус создавался вроде бы без прямых подсказок вождя: на многочисленных обсуждениях очередных макетов будущего коммунистического талмуда он обычно скромно, но внимательно помалкивал, а авторы тем временем лихорадочно соображали, чего он от них добивается. Окончательная правка текста вождём обнаруживает, что Сталин ограничился почти исключительно добавлением ругательных и глумливых характеристик своих былых сподвижников – что могут на этот счёт подумать на Западе, его не интересовало. Характерно и то, что позднее, при 2-м издании собственной биографии, он продолжал настаивать на своём «ученическом» отношении к Ленину (хотя в глубине души считал себя учеником Ивана Грозного), хотел отметить собственную «личную скромность» и требовал подчеркивания своих особых заслуг в деле сокрушения «врагов народа» [Максименков 1993: 27–35]. Человек с неизжитой психологией ублюдка инстинктивно опасался слишком пронзительного высвечивания своей личности в России, а не во внешнем мире; ему больше импонировал принцип непритязательного «духовного» наследования, обернувшийся позднее принципом квазидинастической преемственности в партии-государстве.

О сталинском терроре уже написаны горы литературы – преимущественно публицистической. В годы «перестройки», равно и в постперестроечный период литераторы – как излишне эмоциональные, так и конъюнктурщики – словно соревновались в том, кто выдаст «на гора» наибольшее число жертв репрессий. Никто не замечал, что статистический вал живых существ, убиенных системой, подобно «основным показателям» эпохи «развитого социализма», скрадывает и камуфлирует ее природную суть. Забывается о том, что гулаговский «архипелаг» вовсе не был островками террора в море социалистического и коммунистического строительства, а составлял костяк системы. Коммунистическая пенитенциарная система изначально базировалась на двух одинаково утопичных принципах: экономический рационализм и пере/воспитание.

В сущности, это было реанимацией крепостничества и попыткой сделать его двигателем прогресса. Отсюда и вполне архаичные формы бунтарства, начавшиеся после смерти Сталина с лагерей, заканчивающиеся уже в постсоветское время «акциями протеста» против невыплаты зарплаты. В сущности, причина российской смуты одна – психоз бунта, вызванный крайней болезненностью бытовых ощущений несовершенства власти. Теперь методом жутких проб и ошибок отыскивался идеал, точнее, его видимость. Вступив на этот путь, Сталин в отличие от Петра I не рискнул затеять устрашающе-мистифицирующих игр с сакральными понятиями, напротив, его действия были призваны фетишизировать данную революцией идеократию с помощью насилия против её мнимых «идейных» противников. При этом принять желаемое за действительное было тем легче, чем ошутимее были жертвы.

Сегодня довольно трудно (если вообще возможно) вообразить, что исторический водоворот «красной смуты» рано или поздно сужается до чётко очерченного «красного круга», где палачам и жертвам предстоит на равных предстать перед тупым идиологом «абсолютной» государственности.

Со временем на вершине властной пирамиды главное значение приобрело незримое противостояние начал революционаризма и патернализма, самоограничительного мессианства и замешанного на примитивном опекуновстве традиционализма. Примечательно, что когда в середине 1930-х гг. была задумана серия фильмов из «жизни замечательных большевиков», из этого ничего не вышло: так и не удалось найти устраивающие власть художественные формы, которые позволили бы превратить «пламенных революционеров» в людей, обслуживающих перелицованное самодержавие [Чернова 2007: 169–173]. Сталинский пери-

од был отмечен двойственностью именно такого рода; похоже, что вождь к концу жизни окончательно отдал приоритет традиции с её непременным антисемитизмом<sup>16</sup> (здесь срабатывал тот инстинкт первобытного деспота, который никак не постижим для нынешних высококолобых интеллектуалов). В 1939 г. иные большевистские деятели изумлялись, что «Сталин не терпит умных людей, подбирает ограниченных, послушных олухов», среди которых «тугодум Молотов, карьеристы Каганович, Микоян, Берия и ещё Мехлис, недалекий Маленков, дурак Хрущев и подобные им подхалимы и хвалители» [Соловьев 1993: 204]. Подобные рассуждения отражали полное непонимание людьми, не утратившими привычных интеллигентских иллюзий и квазиучёного чистоплюйства, природы имперской власти. Вся советская система была попросту марксистски раскрашенным «латентным» черносотенством, базовым основанием которого было пресловутое единение партии (того же царя) с народом. В этом контексте окружению «вождя» подобало быть «дураками» или тупыми исполнителями (в лучшем случае толмачами) по должности, не говоря о непременности фигур, олицетворяющей лишь отдельные стороны «славного» прошлого и настоящего (должности типа придворного шута также вполне функциональны). Нельзя забывать, что сам Сталин вырос из «серой кляксы» в «вождя всех народов» в силу сакральной значимости в глазах масс занимаемого им верховного поста; для поддержания его власти «дураков-бояр» следовало периодически наказывать. Система в принципе могла спокойно эволюционировать лишь в ходе превращения тиранического «отца» в благостного «дедушку», наподобие Брежнева последних лет. В этом драма и трагедия как лидеров, так и народов, попавших в «ловушку» системы.

Но взбалмошный «реформатор» Хрущев, напротив, освободившись от опеки «хозяина», двинулся по пути Октября. Если представить русскую революцию как попытку искоренения «архаики» с помощью «прогрессивных» форм собственности, то под покровом «оттепели» можно разглядеть очередную волну раскрестьянивания и нелепой борьбы с православной верой в стране, давно живущей атеистическими суевериями. Даже указуя художникам и писателям, что и как им надлежит изображать, Хрущев поступал на манер русского народного викария второй половины XIX в., полагавшего, что сапоги важнее, чем Шекспир, хотя по натуре он ближе к типу раздобревшего махновца. В прошлом начиная с 1930 г. Хрущев проявил себя как активный участник всевозможных репрессий. Этот человек, с наивностью необразованного деревенского парня, «подглядевшего» революцию, полагал, что для «благого дела» все средства хороши. Со временем он решил, что в видах приближения коммунизма уместно от репрессий перейти к реабилитациям (разумеется, покойников – новое поколение «врагов народа» в лице «валютчиков», напротив, нежданно удостоилось «вышки»). Миловал он с той же деспотической непринуждённостью, с какой и наказывал. (К этому примешивался и инстинкт самосохранения – себя и системы.) Впрочем, дело вовсе не в масштабах репрессивности, а в изменении её форм. Только новое, взлелеянное «отцом народов» поколение служилой «творческой» интеллигенции могло поверить, что сменивший диктатора-оппортуниста суетный самодур проводит некие реформы в интересах общества, а не пытается наивно реанимировать революционное движение к коммунизму с помощью двух символических «костылей» – кукурузы и ракет. Вовсе не случайно в его время к 40-летию революции иные научно-популярные журналы нарисовали радужные картины утверждения коммунизма через

<sup>16</sup> Подсчитано, что в 1948–1953 гг. за «националистическую деятельность» было репрессировано около 1 тыс. евреев, из них расстреляно не более 100. Доля евреев в общем количестве репрессированных советских граждан нерусского происхождения по этому обвинению не превысила 3 % [Мозохин 2006: 346, 348, 363–464]. Учитывая эти относительно небольшие цифры, следует иметь в виду, что в это время за «национализм» было репрессировано громадное число западных украинцев и прибалтов [Также см.: Костырченко 1994; Костырченко 2005].

40 лет (в 1997 г.) в последнем бастионе капитализма – в США (где последнему оставшемуся не у дел финансовому магнату, органически не приемлющему торжествующего коллективизма, не осталось ничего иного, как смиренно испросить разрешение на ведение единоличного хозяйства, дабы хоть чем-то занять себя). Факт, сегодня кажущийся почти символическим.

Эра Брежнева дала новые формы устранения неудобных для системы лиц. Речь идёт даже не о способах расправы с так называемыми диссидентами – это достаточно хорошо известно, хотя и отнюдь не столь показательно в смысле «усовершенствования» системы дисциплинирующего насилия. Исследователи до сих пор не обратили внимания на судьбы тех невольных и искренних «подрывателей» системы, которые на деле мечтали её усовершенствовать. Они не отправлялись в ГУЛАГ после официальных партийных проработок, но это вовсе не было свидетельством гуманизации системы. «Бездействие» власти по отношению к этой части общества весьма показательна: циничные правители, хорошо понимая, насколько психически ранимы её непрошенные доброжелатели, резонно полагали, что после соответствующих проработок эти люди либо получают инфаркт, либо сопьются. Часто так и случилось. От эпохи «красного террора» патерналистская государственность проделала большой и показательный путь. Это была не «карцериальная», по терминологии М. Фуко, социально-правовая система. Здесь платить приходилось не за содеянное, а за природное несоответствие бюрократически навязываемому «идеалу».

Всякая подвижка в обществе такого типа провоцировала неприятие снизу, начиная с появления «параллельного» языка, являвшегося в сущности базовой основой бунтарски-рабской метакультуры. В этом всякий раз помогали «ошибки» власти. Тон задал Хрущев, «отменивший» ГУЛАГ, но не забывший об увеличении расстрельных статей Уголовного кодекса. Народ, соблазненный призраком казавшегося, как никогда, близким коммунизма, нежданно испытал на себе произвольное (пусть экономически неизбежное) повышение цен на предметы первой необходимости. Общие установки общества и власти стали все более решительно расходиться. «Революционер» Хрущев напомнил об эпохе «барства дикого», тогда как массы надеялись на «цивилизованные» формы его воплощения типа «шарашек». Именно поэтому, а не в силу усилий кремлёвских заговорщиков его ждал столь ничтожный финал.

Русский народ может вынести очень многое – но не бессмысленные понукания мятущейся, теперь уже непонятно к чему стремящейся власти. Известно, что в годы так называемого застоя революционность превратилась в нечто вроде безобидной и привычно-умилительной культовой ритуалистики. Не случайно всякий новый высокий номенклатурный назначенец при вступлении в должность обязан был публично (в «Правде», с трибуны партийного съезда или пленума и т. п.) обосновать свою программу действий с «марксистско-ленинских» позиций; в узком кругу «ради интересов дела» ему могли прощать те или иные «человеческие» грешки, но в случае недееспособности он слетал с работы с нейтральной формулировкой («по состоянию здоровья») или отправлялся послом в захолустную страну. Жреца квази-революционности нельзя было простить политически – это бросало тень на миссию служения идее.

К концу 1970-х гг. красная империя достигла пика своего величия. Наследница революционного насилия могла физически уничтожить весь мир, но преобразить его она не могла. Да и что можно было ожидать от поднятой ею культурной волны, в границах которой талантливые фигуристы пародировали на льду то ли ружейные артикулы времён Петра I, то ли монументальных «Рабочего и колхозницу».

Финал СССР смотрится вполне закономерно. Но особая поучительность истории состояла в том, что последыши «красной смуты» созрели только для того, чтобы отказаться от своей генетической основы – а это означало подспудное согласие уничтожить самих себя. Генсеки не случайно стали дохнуть, как мухи в осеннюю пору. Идеи, во имя которой можно

было бы направить энергию насилия, больше не оставалось: всем – от «главных коммунистов» до простых работяг – хотелось просто жить, хотя теперь уже мало кто представлял, что это значит.

СССР оказался несостоятельным должником собственных народов. Они не желали больше служить идее. Хуже того, они почувствовали трудновыразимое, но устойчивое отвращение к своему крепостническому состоянию. И тут в очередной раз нарушил правила игры идеократически-патерналистской системы Горбачев, заговоривший об «общечеловеческих ценностях». Как коммунист он действовал вполне логично, как повелитель суши совершил нелепейший шаг: сработала психология исторического отставника служилого сословия, которому опостылела его нескончаемая работа. Принимая эстафету от хрущевизма, и Горбачев не случайно попробовал вяло кокетничать с революцией – уже вполне мифической, а не реальной – вознамерившись придать ускорение катафалку «военного коммунизма» с помощью «человеческого фактора». Большой издёвки над уставшим «обгонять прогресс» с помощью «шарашек» народом трудно было придумать. Любая идеократия рано или поздно предстаёт онтологическим абсурдом.

Как и Хрущеву, последнему главному коммунисту-ловкачу пришлось пережить взлёт популярности и пасть в бездну публичных поношений. Конечно, в русской истории такое случалось. Горбачева ещё в 1980-е гг. сравнивали и продолжают сравнивать с Керенским. На деле феномен несколько сложнее: «президент СССР» ухитрился совместить в себе черты Николая II и Керенского, а по своим «ораторским» манерам больше походил на В. Чернова. Строго говоря, памятуя о судьбе Николая II, с Горбачевым произошло не худшее, что могло случиться: незадачливые российские властители всегда рискуют быть принесёнными в жертву при равнодушии или плохо скрываемом злорадстве народного большинства. И если они оказались всего лишь в роли заурядных козлов отпущения, то им остаётся радоваться и стараться поумнеть.

Впрочем, любую смуту можно окончательно преодолеть, лишь осознав тщетность своих упований на власть.

---

Бердинских В.А. 1998. *Вятлаг*. – Киров.

Богословская М.В. 2008. Образ идеального представителя советской государственной элиты: Начальный этап формирования. – *The Soviet and Post-Soviet Review*. – Vol. 35. – N. 2. – P. 141–162.

Бордюгов Г.А. 1999. Гитлер приходит к власти: новые детерминанты внешнеполитических решений сталинского руководства. 1933–1934 годы. – *Отечественная история*. – № 2.

Булдаков В.П. 1993. XX век российской истории и посткоммунистическая советология. – *Российская империя, СССР, Российская Федерация: История одной страны*. – М.

*Вестник академии наук*. – 1933. – № 3.

*Военно-исторический журнал*. – 1990. – № 2.

*Военно-исторический журнал*. – 1993. – № 1.

Вольфсон С.Я. 1929. *Социология брака и семьи*. – Минск.

Вольфсон С.Я. 1937. *Семья и брак в их историческом развитии*. – М.

*Вопросы истории КПСС*. – 1991. – № 6

ГА РФ. – *Государственный архив Российской Федерации*.

Гвоздкова Л.И. 1997. *История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе*. – Кемерово.

Гиляров Е.М., Михайличенко А.В. 1990. *Становление и развитие ИТУ Советского государства (1917–1921)*. – Домодедово.

- Глебкин В.В. 1998. *Ритуал в советской культуре*. – М.  
Годы террора... 1998. *Годы террора: Книга памяти жертв политических репрессий*. – Пермь.  
Голос народа... 1998. *Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 г.* – М.  
ГУЛАГ... 1999. *ГУЛАГ: Его строители, обитатели и герои* / Под ред. И.В. Добровольского. – Франкфурт-на-Майне; Москва  
ГУЛАГ в Карелии... 1992. *ГУЛАГ в Карелии, 1930–1941*. – Петрозаводск  
Детков М.Г. 1992. *Содержание карательной политики Советского государства и её реализация при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы и тридцатые-пятидесятые годы*. – Домодедово.  
Дискуссия по докладу... 1998. Дискуссия по докладу С.Г. Уиткрофта и Р.И. Дэвиса «Кризис в советском сельском хозяйстве». – *Отечественная история*. – № 6.  
Долгоруков П.Д. 2007. *Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов 1916–1926* / Л.И. Глебовская. – М.  
Дугин А.Н. 1999. *Неизвестный ГУЛАГ: Документы и факты*. – М.  
Еланцева О.П. 1995. *Строительство № 500 НКВД: железная дорога Комсомольск-Советская гавань. 1930–40-е гг.* – Владивосток  
Земсков В.Н. 1991. ГУЛАГ (историко-социологический аспект). – *Социологические исследования*. – № 6.  
Земсков В.Н. 1997. Заключённые в 1930-е годы. Социально-демографические проблемы. – *Отечественная история*. – № 4.  
Земсков В.Н. 2009. О масштабах политических репрессий в СССР. – *Мир и политика*. – № 6  
Иванова Г.М. 1995. ГУЛАГ как социальный феномен советского общества. – *Социальные реформы в России: теория и практика. Вып. 1*. – М.  
Иванова Г.М. 1997. *ГУЛАГ в системе тоталитарного государства*. – М.  
Иванова Г.М. 2006. *История ГУЛАГа, 1918–1958: Социально-экономический и политико-правовой аспекты*. – М.  
*Известия ЦК КПСС*. – 1989. – № 3.  
Ирошников М., Шелаев Ю. 1998. Октябрение. – *Родина. Сборник разных лет. Дайджест. Исторический архив*. – 1994. – № 1.  
Кабанов В.В. 1997. *Источниковедение истории советского общества*. – М.  
Каганович Л.М. 1997. *Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-государственного работника*. – М.  
Кедров Н.Г. 2008. Коллективизация в системе идейно-политической коммуникации власти и северного крестьянства на рубеже 1920–1930-х годов. – *The Soviet and Post-Soviet Review*. – Vol. 35. – No. 1. – С. 75–106.  
Кириллов В.М. 1996. *История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала, 1920 – начало 1950-х гг.* – Нижний Тагил.  
Костырченко Г.В. 1994. *В плену у красного фараона. Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие*. – М.  
Костырченко Г.В. 2005. Мечтал ли Сталин о втором Холокосте? – *Родина*. – № 1.  
КПСС в резолюциях... 1984. *КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 4*. – М.  
Красильников С.А. 1997. Рождение ГУЛАГа: дискуссии в верхних эшелонах власти: Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 1929–1930 гг. – *Исторический архив*. – № 4.

- Краус Т. 1997. *Советский Термидор: духовные предпосылки сталинского поворота. 1917–1928.* – Будапешт.
- Максименков Л. 1993. Культ. Заметки о словах-символах в советской политической культуре. – *Свободная мысль.* – № 10.
- Меня встретил человек среднего роста... 1992. «Меня встретил человек среднего роста...». Из воспоминаний скульптора М.Д. Рындзюнской о работе над бюстом И.В. Сталина в 1926 г. – *Голоса истории.* – Вып. 23. – Кн. 2. – М.
- Мозохин О.Б. 2006. *Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918–1953 гг.).* – М.
- Морозов Н.А. 1997. *ГУЛАГ в Коми крае, 1929–1956.* – Сыктывкар.
- Общество и власть. 1930-е годы... 1998. *Общество и власть. 1930-е годы. Повествование в документах.* – М.
- Общество и власть. Российская провинция... 2005. *Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985. Свердловская область. Документы и материалы. Т. 1. 1917–1941.* – Екатеринбург.
- Олейник О.Ю. 1992. Проблемы военной угрозы СССР в 1927 г. (К анализу оценок политического руководства страны). – *Проблемы социально-политического развития российского общества.* – Иваново.
- Осокина Е.А. 1998. Легенда о мешке с хлебом: кризис снабжения 1936/37 года. – *Отечественная история.* – № 2.
- Павлюченков С.А. 2008. «Орден меченосцев». *Партия и власть после революции. 1917–1929 гг.* – М.
- Пашин В.П. 2007. Номенклатура и социальный апартеид партии большевиков в 1920-е годы. – *Soviet and Post-Soviet Review.* – Vol. 35. – № 2.
- Петров Н.В., Скоркин К.В. 1999. *Кто руководил НКВД. 1934–1941. Справочник.* – М.
- Письма во власть... 1998. *Письма во власть. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям.* – М.
- Письмо заключённому оппозиционеру... 2007. Письмо заключённому оппозиционеру, 1930 / Публикация и комментарии Д. Бондаренко и А. Катчука. – *Морія. Альманах общественной организации «Общинный дом еврейских знаний «Морія».* – Одесса – № 7.
- Плотников И.Е. 1998. Крестьянские волнения и выступления на Урале в конце 20-х – начале 30-х годов. – *Отечественная история.* – № 2.
- Радзинский Э.С. 1997. *Сталин.* – М.
- Разговор через решётку... 1992. «Разговор через решётку». – *Звенья.* – Вып. 2. РГАЭ. – *Российский государственный архив экономики.*
- Репрессии против поляков... 1997. *Репрессии против поляков и польских граждан.* – М.
- Роговин В. 1996а. 1937. – М.
- Роговин В. 1996б. *Партия расстрелянных.* – М.
- Розенталь И. 1998. Исторический источник и «виртуальная реальность». – *Россия XXI.* – № 9–10.
- Соловьев А.Г. 1993. Тетради красного профессора (1912–1941 гг.). – *Неизвестная Россия. XX век. Т. IV.* – М.
- Статистическое обозрение.* – 1928. – № 5.
- Тоталитаризм в Европе... 1996. *Тоталитаризм в Европе XX века: из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления.* – М.
- У мысли стоя на часах... «У мысли стоя на часах...».
- Фронт науки и техники.* – 1933. – № 2.

- Хельбек И. 1997. Личность и система в контексте сталинизма: попытка переоценки исследовательских подходов. – *Крайности истории и крайности историков*. – М.
- Хлевнюк О.В. 1996. *Политбюро: Механизмы политической власти в 1930-е годы*. – М.
- Чернова Н. 2007. Двух гениев в одном фильме быть не может: злоклучения Дзержинского на советском экране. – *Историк и художник*. – № 3(13).
- Шаховской Д.И. 1991. Письма о братстве. – *Звенья*. – Вып. 2.
- Шмыров В. 1998. К проблеме становления ГУЛАГа (Вишлаг). – *Годы террора. Книга памяти жертвы политических репрессий*. – Пермь.
- Щекунова Л.В. 1999. Сталинские маргиналии как исторический источник. – *Власть и общество России. XX век*. – М.
- Эпплбаум Э. 2006. *ГУЛАГ. Паутина Большого террора*. – М.
- Яковлев Б.А. 1955. *Концентрационные лагеря СССР*. – Мюнхен.
- Васон Е. 1994. *The Gulag at War: Stalin's Forced Labor System in the Light of the Archives*. – L., Basingstocke.
- Bunyan J. 1967. *The Origin of Forced Labor in the Soviet State, 1917–1921. Documents and Materials*. – Stanford.
- Daniels R.V. 1988. *The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Soviet Russia*. – Boulder and L.
- Getty J.A., Rittersporn G.T., Zemskov V.N. 1993. Victims of the Soviet Penal System in the Pre-War Yers: A First Approach on the Bases of Archival Evidence. – *American Historical Review*. – Vol. 98. – No. 4.
- Jacobson M. 1993. *Origins of the Gulag: The Soviet Camp System 1917–1934*. – Lexington.
- Kershaw I. 1994. Totalitarianism Revisited: Nazism and Stalinism in Comparative Perspective. – *Tel Aviver Jahrbuch fur deutsche Geschichte. Bd. XXIII*.
- Malia M. 1994. *The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia, 1917–1991*. – N.Y.
- Nolte E. 1989. *Der europaische Burgerkrieg 1917–1945. National-socialismus und Bolschevismus*. – Berlin.
- Stalinism and Nazism... 1997. *Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison. Ed. by Ian Kershaw and Moshe Lewin*. – Cambridge.
- Stalinist Terror... 1993. *Stalinist Terror. New Perspectives*. – Cambridge.
- Stettner R. 1996. "Archipel Gulag": *Stalins Zwangslager: Terrorinstrument und Wirtschaftsgigant: Organization und Funktion das sowietiscdhen Lagersystems*. – Frahhfurt a/M.
- Werth N. 1997. Un etat contre son people. – *Le livre noir du Communisme: Crimes, terreur, repression*. – Paris.
- Wheatcroft S. 1996. The Scale and Nature of German Soviet Repression and Mass Killings, 1930–1945. – *Europe-Asia Studies*. – Vol. 48. – No. 8.